

П О Л И Н А

ДАШКОВА

ПИТОМНИК



Полина Дашкова

ПИТОМНИК

«АСТ»

Дашкова П. В.

Питомник / П. В. Дашкова — «АСТ»,

Благими намерениями выстлана дорога в ад. Настоящим адом для подростков-сирот стал семейный детский дом в Подмоскowie. «Благодетели», не жалеющие денег на его содержание, с помощью криминальных «учителей» готовят себе достойных помощников, развращая тела и души детей.

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	18
Глава третья	28
Глава четвертая	35
Глава пятая	40
Глава шестая	51
Глава седьмая	60
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Полина Дашкова

Питомник

*...ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный
– выживание слабейших.*

Владимир Набоков

© Дашкова П. В.

©ООО «Издательство АСТ»

Глава первая

После бесконечной слякотной зимы с тяжелыми снегопадами, после апрельских заморозков и унылых майских дождей в Москву наконец пришло настоящее лето. Июнь начался ярко, жарко, и каждый солнечный день казался праздником. Ночами гремели грозы, но к рассвету не оставалось ни облачка, восторженно кричали воробьи и сверкающие капли сыпались с деревьев.

В маленьком дорогом кафе в одном из тихих переулков неподалеку от Таганской площади впервые решились выставить три столика на открытую веранду, окруженную старыми липами. Кафе открывалось в полдень, и ровно в полдень явился первый посетитель – мужчина в белом летнем костюме. Он выглядел больным и помятым, словно провел бессонную ночь и утром не умывался.

Переулок был залит солнцем, внутри кафе казалось темно. Посетитель тревожно огляделся, и метрдотель в бабочке предложил ему пройти на веранду. Посетитель кивнул, выбрал столик у ограды и упал на стул так тяжело, что хлипкие алюминиевые ножки подкосились. Если бы не решетка за спиной, он непременно бы рухнул на плиты и расшиб голову. Но решетка спасла, мужчина вскочил, его качнуло, и тут же к нему подлетел испуганный официант.

– Вы не ушиблись? – спросил он, придерживая посетителя за локоть и заглянув в глаза. Официанту показалось, что гость пьян, ноздри его затрепетали, профессионально принюхиваясь. Но пахло только хорошим одеколоном. Льняной костюм был измят и несвеж, однако выглядел дорого, и ботинки не вызывали сомнений. Официант всегда сначала нюхал подозрительных посетителей, потом смотрел на обувь.

– Мне надо сесть. Стул сломан, – произнес гость тяжелым отрывистым басом.

– Вот, пожалуйста, присаживайтесь, – официант пододвинул ему другой стул и смахнул с белоснежной скатерти невидимые крошки. Гость уселся, задрал рукав и взглянул на хорошие швейцарские часы.

Безусловно, посетитель был приличным человеком, но все-таки выглядел странно.

Есть известная детская игра, когда один рисует голову, другой туловище, третий ноги, потом разворачивают листок и смотрят, что получилось. Человек в белом костюме состоял из таких, вслепую нарисованных частей. Голова его была слишком велика для хрупкой шеи, узкие худые плечи никак не соответствовали увесистой нижней части туловища, которая, в свою очередь, контрастировала с журавлиными ногами и широкими плоскими ступнями сорок пятого размера. Светло-желтые волосы, несмотря на тонкость и мягкость, упрямо торчали в разные стороны, как перышки мокрого цыпленка. Круглое лицо, украшенное маленьким упругим носиком и большими, выпуклыми шоколадными глазами, сохранило детские пропорции, и если бы не тяжелый, почти стариковский бас, можно было бы принять его за нездорового сонного подростка.

Тени дрожащих липовых листьев падали на скатерть, осыпали костюм, лицо и руки посетителя крупной нервной рябью, и оттого казалось, что человека колотит лихорадка. Не раскрывая книжки меню, он рявкнул громко и грубо:

– Кофе!

– Эспрессо? Капучино? По-восточному? – ласково уточнил официант.

– По-восточному. Крепкий и сладкий. – Мужчина вдруг вскочил как ошпаренный и закричал: – Лиля! Я здесь!

Официант оглянулся. На веранде появилась женщина лет тридцати пяти, маленькая аккуратная блондинка в бело-розовом платье. Легко процокали острые каблочки белых туфель, пахло жасмином, и официант отметил про себя, что дама пользуется старомодными, но приятными духами «Диориссимо».

– Привет, – сказала блондинка, бережно расправила платье и села напротив мужчины. Светлые брови сдвинулись, уголки свежего пухлого рта опустились вниз, приятное круглое лицо стало напряженным. Было заметно, что она совсем не рада встрече. Официант вернулся к столу и вопросительно взглянул на женщину.

– Лиля, что тебе заказать? – Мужчина оскалил в улыбке прокуренные крупные зубы.

– Ничего. Просто стакан воды. Минеральной, без газа.

– Может, кофе? – предложил официант.

– Спасибо, не надо.

– Вот, я принес тебе, чтобы ты посмотрела, где я работаю, – пробормотал мужчина. Он принялся неловко рыться в мягкой кожаной сумке и наконец извлек глянцевого толстого журнала. На обложке под кровавым названием «Блюм» извивалась обнаженная лысая девушка, отлитая из ртути.

– Спасибо. – Блондинка машинально пролистала страницы и вдруг замерла, вскинув на мужчину светло-серые прозрачные глаза. В руках у нее был белый плотный конверт, который она обнаружила между страницами. – Что это? – спросила она грозно.

– А ты открой, посмотри. – Лицо его растянулось в глупой улыбке.

Блондинка заглянула в конверт, тут же бросила его на стол и резко встала:

– Все, нам не о чем разговаривать.

– Лиля, подожди, ты что?! – испугался он и схватил ее за руку. – Ну на фига ты выпендриваешься, а? Тебе бабки не нужны? Или, может, мало? Ты хотя бы посчитай.

– Во-первых, разговаривай со мной по-человечески, тебе не пятнадцать лет. Во-вторых, убери это, на нас смотрят. – Она покосилась на официанта, которой замер у столика с бутылкой воды на подносе.

– Сядь, пожалуйста, очень тебя прошу, сядь. Ты разве не видишь, как мне плохо? – жалобно простонал мужчина.

– Тебе всегда плохо, – сердито заметила блондинка, но все-таки села. – Я тебя внимательно слушаю. Зачем ты меня сюда пригласил? – Она уставилась на него в упор, от напряжения глаза ее стали совсем прозрачными.

– Это я тебя слушаю. – Он закашлялся, лицо налилось кровью. – Объясни, будь добра, почему я не могу прийти? – пролаял он, схватил салфетку и шумно высморкался.

– Потому, что я тебя не приглашаю, – с вежливой улыбкой ответила женщина.

Мужчина шлепнул на стол пачку «Мальборо» с ментолом, долго не мог вытащить сигарету и прикурить. Каждое его движение казалось слишком резким и неловким. Он либо сильно нервничал, либо был болен, а возможно, и то и другое. Блондинка, напротив, выглядела человеком здоровым и спокойным.

– Но я хочу прийти, – произнес он, затягиваясь и выпуская дым из ноздрей, – это же бред, Лиля! Что значит, ты не приглашаешь? Мы взрослые люди.

– Это ты взрослый? – Она засмеялась, сверкнув мелкими белоснежными зубками. – Ты взрослый? Ой, я тебя умоляю...

– Не вижу ничего смешного. Я уже купил подарок, и вообще, ты не имеешь никаких прав, по документам ты никто.

– Вот как? – Она склонила голову набок и высоко подняла брови. – Ну, если на то пошло, настоящие документы у меня, они в полном порядке, и в них твое имя нигде не зафиксировано. – Лиля залпом выпила воду. – Как раз ты никто, а я совсем наоборот. Скажи спасибо своей предприимчивой маме. Она все отлично устроила.

– Вот маму давай оставим в покое, – Олег избегал смотреть ей в глаза и уставился в свою кофейную чашку, – сейчас не о ней речь. Допустим, ты не хочешь, чтобы я приходил. Что дальше?

– Дальше я собираюсь обращаться в официальные инстанции, заявлять о подлоге документов и не только. Есть кое-что более серьезное. Значительно более серьезное.

– Слушай, ты можешь выражаться яснее, без этих дурацких намеков?

– Пока не могу. Но обещаю, что скоро все мои неясные намеки прояснятся.

– Нет, а что произошло? Ты спокойно жила все эти годы и вдруг взорвалась ни с того ни с сего. В чем дело? Десять лет ситуация тебя полностью устраивала, а теперь ты собираешься обращаться, как ты выразилась, в официальные инстанции. В суд, что ли?

– Совершенно верно, в суд.

– И в чем ты нас обвиняешь?

– Тебя ни в чем. А вот матушку твою гениальную я обвиняю. И поверь, это очень серьезно.

– Ой, ну хватит. – Он махнул рукой. – Неужели тебе охота затевать всю эту бодягу, вмешивать кретинов-чиновников в наши семейные дела? В конце концов все происходило по твоему молчаливому согласию. Тогда надо было думать, десять лет назад. А сейчас поздно и глупо.

– Да, – кивнула она, – поздно и глупо. Не спорю.

– Ну и зачем тебе это нужно? Объясни, чего ты хочешь, давай спокойно все обсудим, договоримся.

– Мы никогда не договоримся. – Блондинка потрянула короткими вьющимися волосами. – Я согласилась встретиться с тобой только потому, что мне тебя очень жаль. Но учти, эта жалость ничего в моих планах не изменит. И все, хватит об этом.

– Хватит?! – выкрикнул мужчина неожиданно визгливым голосом. – Что значит хватит? Ты долго будешь надо мной издеваться? Сидишь, спокойная, вежливая, и угрожаешь судом! – Он раздавил сигарету, обжег палец, поморщился и поднес его к губам. – Что мы тебе сделали? Десять лет никаких претензий, и тут вдруг, без всякого предупреждения...

– Не кричи, Олег, – в светло-серых глазах мелькнула жалость, – ты ничего мне не сделал, ты вообще вряд ли способен на какие-либо сознательные действия. А вот мама твоя... Ладно, я сказала, лучше не надо об этом. Я не издеваюсь над тобой. Пожалуйста, давай прекратим этот разговор. Ты слабый, глубоко несчастный человек, я уже сказала, мне тебя очень жаль. Прости, мне пора. – Она поднялась и, взглянув на него сверху вниз, тихо добавила: – Тебе лечиться надо, ты очень плохо выглядишь. Все, до свидания.

– Подожди. – Он поймал ее руку и потянул так резко, что она чуть не упала. – Сядь, ты ничего не объяснила, и главное, ты не объяснила, почему я не могу прийти?

– Потому, что это мой дом и я не хочу тебя там видеть. Если ты явишься, я просто не открою дверь.

– Господи, ну почему? – простонал он.

– А тебе не приходит в голову, что мне очень больно видеть тебя в своем доме? Да, ты ничего не сделал. Однако твое бездействие было хуже преступления. Даже статья такая есть в Уголовном кодексе: оставление в беспомощном состоянии. Я знаю, ты был еще беспомощней, чем Ольга, но ее нет, а ты жив. Не приходи, очень тебя прошу.

– Значит, я виноват, что жив? Ну, прости, эту вину я искуплю. Не сейчас, конечно. Дай мне срок еще лет двадцать или тридцать. Хорошо?

– Перестань, – устало вздохнула Лиля, – хотя бы сейчас не юродствуй.

Он открыл рот, помотал головой, привстал, опершись на стол, выпуклые карие глаза вспыхнули, что-то должно было сорваться с языка важное, резкое, но не сорвалось. Глаза угасли, медленно, как свет в кинотеатре.

– Возьми подарок, – буркнул он и достал из кармана маленький красный футляр, – здесь сережки золотые, она ведь любит всякие побрякушки.

– Спасибо. Это очень трогательно. Но у нее не проколоты уши и вместо радости будет одно расстройство. А вот журнал я возьму. Никогда подобных изданий в руках не держала. Что значит «Блюм»?

– Ничего. Просто звучит красиво.

– Там есть твои статьи?

– Нет. Я же сказал, я заместитель главного редактора, сам пишу очень редко, – ответил он отрывистым механическим басом и впервые взглянул ей в глаза. – Лиля, десять лет назад твоя сестра покончила с собой. В этом никто не виноват. Я обещаю, что не появлюсь в твоём доме до тех пор, пока ты сама меня не пригласишь. Но ответь мне на единственный вопрос: что изменилось? Почему ты вдруг стала кого-то обвинять в ее смерти?

Она ничего не ответила, аккуратно положила журнал в пакет, встала и ушла.

Олег смотрел ей вслед, губы его шевелились. Подошел официант, чтобы забрать чашку с остывшим, нетронутым кофе, и услышал:

– Гадина... сука... ненавижу...

А женщина, прежде чем покинуть кафе, зашла в туалет. Несколько минут она стояла перед зеркалом, закрыв глаза. Плечи ее вздрагивали, по щекам текли черные от туши слезы. Уборщица, сидевшая за столиком с вязанием в руках, посмотрела на нее и спросила:

– Доченька, тебе плохо?

– Ничего, соринка в глаз попала, – ответила Лиля, умылась холодной водой, потом, вытряхнув все содержимое из белой лаковой сумочки, стала приводить себя в порядок, подкрасила ресницы, губы, попудрилась, не глядя, бросила все назад, в сумку, и ушла.

* * *

В половине четвертого утра патрульная милицейская машина чуть не сбила женщину в пустом переулке. Район был спальный и считался сравнительно спокойным, никаких вокзалов, гостиниц, ночных клубов. Патрульная группа расслабилась. Только что кончилась гроза, на этот раз вялая, ленивая, но дождь все шел и заметно похолодало. В салоне было тепло и уютно. У младшего лейтенанта Телечкина имелся двухлитровый термос с крепким кофе, у капитана Краснова была копченая курица. Собирались остановиться в каком-нибудь дворе и перекусить.

Женщина выросла из-под земли. Водитель едва успел притормозить. Маленькая, полная, она застыла посреди дороги и не двигалась, не реагировала на визг тормозов, ослепительный свет фар в лицо, крик водителя. На ней было надето что-то широкое, белое, и в мертвенном фонарном свете, в дрожащей пелене дождя она казалась привидением.

– Давай-ка, Коля, вылезь, разберись, – приказал младшему лейтенанту Телечкину капитан Краснов.

– Наколотая или бухая, – проворчал Коля, – из-за такой дуры вылезать под дождь...

Приблизившись, он заметил, что это вовсе не взрослая женщина, а девчонка лет пятнадцати, босая, в каком-то балахоне, вроде халата или ночной рубашки.

– Ну точно, наколотая, – повторил лейтенант и громко спросил: – Тебе что, жить на доело?

– Я убила тетю Лилю, – медленно произнесла девочка, глядя на лейтенанта сумасшедшими глазами. Она картавила, не выговаривала «л», голос у нее был звонкий, чистый, совсем детский.

– Чего?

– Второй Калужский переулок, дом восемь, корпус два, квартира сорок.

Телечкин стоял в глубокой луже и чувствовал, как пропитываются холодной влагой ботинки, как за шиворот капает дождь. Еще минута, и он промокнет насквозь. Взглянув на

светящуюся табличку, прибитую к ближайшему дому, лейтенант прочитал: «1-й Калужский переулок».

– Ладно, пошли в машину, разберемся. – Он взял ее за локоть, она не сопротивлялась, покорно села в машину и громко повторила:

– Я убила тетю Лилю.

– Тебе сколько лет? – поинтересовался капитан Краснов и брезгливо поморщился. От девочки исходил странный запах, нет, не бомжовская вонь, что-то другое. «Лук, – догадался капитан, – репчатый лук. Для того чтобы так разило, надо полкило сожрать, не меньше. Закусывала она им, что ли?»

– Четырнадцать, – ответила девочка и, помолчав, добавила: – Коломеец Люся, восемьдесят пятого года.

– Так, и кого же ты убила, Люся Коломеец?

– Тетю Лилю. Второй Калужский переулок, дом восемь, корпус два, квартира сорок. Она там лежит на кухне в грязном халате, молчит и не шевелится. Надо «скорую» вызвать, но я боюсь врачей.

– А чего так? – спросил Телечкин с дурацким смешком.

– Уколы будут делать. Больно, – ответила девочка и задумчиво добавила: – Они злые, им нравится делать больно. Говорят, ничего, потерпи, а как терпеть, когда больно? Потом вообще руки-ноги сводит и в голове бурчит.

Сидевший за рулем сержант Сурков поймал в зеркале взгляд Краснова и выразительно закатил глаза.

– Бурчит обычно в животе, – заметил лейтенант Телечкин.

– Это если капусты много съешь, тогда да, в животе, – кивнула девочка, – а когда делают укол от плохого поведения, тогда в голове начинается, знаете, бурр-бурр, как будто там внутри что-то шевелится и хлопает.

– Тетя Лиля тебе кто? – спросил после долгой паузы капитан Краснов.

– Как кто? Тетя. Мама моей сестра.

– А мама где?

– Умерла, – сообщила девочка с легким вздохом, – еще давно, когда я маленькая была. Сначала мама, потом бабушка. Осталась одна тетя Лиля.

– Отец есть?

– Не-а. Никого нет. Только тетя Лиля.

– Так чего же ты тетю свою, родную-единственную, убила? – спросил Телечкин и сухо откашлялся.

Она не ответила.

Переулок был утыкан фонарями, машина ныряла из света в темноту, лицо девочки то вспыхивало, то исчезало, и лейтенанту стало не по себе. Он не мог толком разглядеть девочку, и ему вдруг пришло в голову, что она не совсем живая, что-то вроде зомби.

Луковый запах напоминал приторную трупную вонь, длинные волосы слиплись, глаза светились, как гнилушки, на лбу и на носу белели какие-то пятна, похожие на плесень. Голос, чистый, высокий, спокойный, с трогательной детской картавостью, звучал сам по себе, отдельно, словно принадлежал другому, более привлекательному существу.

«Меньше надо ужастиков смотреть, – раздраженно заметил про себя Телечкин, – ребенок как ребенок. Просто с головой не все в порядке, лицо какой-то мазью намазано и лук поедает в огромных количествах».

– Вот здесь направо, во двор, это дом восемь, корпус один, а корпус два следующий, – сообщила девочка и добавила: – Только вы первые идите. Я боюсь.

Дверь оказалась открытой. Везде горел свет. Пахло чистотой, лавандой и хорошим туалетным мылом. Это была обычная малогабаритная «распашонка» с крошечной прихожей и

двумя смежными комнатами. На кухне, сквозь дверной проем, виднелись ноги в узорчатых шерстяных носках.

– Извините, вы не могли бы снять ботинки? На улице грязно, – звонко произнесла девочка и принялась старательно вытирать босые ступни о коврик.

– Чего? – переспросил Краснов и, взглядевшись в ее лицо, заметил на лбу и на носу белые пятна какой-то густой мази.

– Там тапочки в шкафчике. Тетя Лиля не разрешает в уличной обуви заходить в квартиру. Что вы на меня так смотрите? Это я пастой от прыщиков намазалась.

Больше она не сказала ни слова, прошла в комнату, села за стол, сложила руки на коленях и уставилась в одну точку. На вопросы не отвечала, словно оглохла. До приезда опергруппы и следователя решили ее не трогать. Лейтенант Телечкин отправился за понятыми.

Труп находился на кухне, в полусидячем положении. На вид убитой можно было дать лет сорок, не больше. Холеная, светловолосая, с гладким правильным лицом, она как будто просто села на пол, прислонившись спиной к батарее и вытянув ноги. На ней был теплый махровый халат и узорчатые пушистые носочки. На нежно-розовой мягкой ткани темнели огромные пятна крови. Судя по количеству крови, было нанесено не меньше десятка ножевых ранений. Тут же валялось орудие убийства – длинный кухонный нож с черной пластмассовой ручкой.

Дело не сулило никаких сложностей. Банальное бытовое убийство. Слабоумная девочка-подросток зарезала свою тетю и сама в этом призналась. Понятые, пожилая пара из соседней квартиры, сначала долго охали, потом сообщили шепотом, что Люся сирота, больна с рождения.

– Все ясненько, чистенько, никаких вопросов, – глубокомысленно заметил Краснов и вздохнул: – Мечта, а не трупик.

– Да уж, мечта, – эхом отозвался Телечкин и попробовал усмехнуться.

Вместо усмешки вышла безобразная гримаса. Встретившись взглядом со своим отражением в овальном зеркале, лейтенант окончательно скис. На физиономии его отчетливо читались страх, жалость к убитой женщине и прочие не поддающиеся описанию чувства, которые переполняли его душу, подступали к горлу и казались Коле Телечкину позорными для нормального мужика, а тем более – для милиционера.

Опергруппа прибыла через двадцать минут. И надо же такому случиться, что дежурным следователем оказался Илья Никитич Бородин. Он славился на весь округ поразительной способностью запутывать и усложнять самые простые дела. Маленький, полный, с тихим монотонным голосом, он своим интеллигентным занудством сводил с ума даже самых терпеливых оперативников и экспертов.

Едва переступив порог и поздоровавшись, Бородин пробормотал, что для такой кровавой резни слишком уж здесь чисто.

– Как это? – удивился трассолог. – Вон кровящи сколько. Просто на убитой халат из толстой мягкой ткани, почти вся кровь впиталась.

– Я не об этом, – глухим нудным голосом стал объяснять следователь, – покойница нормальная женщина, порядочная, чистоплотная, видимо, законопослушная. К торговле и к прочему бизнесу вряд ли имела отношение. Достаток ниже среднего, если, конечно, в наше время существует понятие середины. Ограбление почти исключается, пьянка и пьяная драка исключаются совершенно, – он говорил очень тихо, как бы с самим собой, не обращая внимания на окружающих.

– Так это, – прошептал лейтенант Телечкин, склонившись к его уху, – девчонка убила, племянница. Она же сама призналась. Она больная, дебилка вроде. Такие не соображают, что делают.

– Слушайте, а что вы шепчете? У вас первый насильственный труп в жизни? – спросил Бородин, чуть повысив голос.

– Первый, – признался лейтенант и судорожно сглотнул.

– Ну, я так и понял. Вы бледный, вас, вероятно, тошнит. – Следователь откровенно зевнул, прикрыв рот ладонью. Тяжелые веки делали его взгляд сонным, тусклым. Казалось, стоит старику приземлиться куда-нибудь, на стул или в кресло, и он тут же тихонько захрапит.

Колю действительно тошнило, и за это он себя ненавидел. В кармане нашлась пластинка жвачки, он развернул, сунул в рот. Тошнота прошла, мозги немного прочистились. Лейтенант впервые внимательно и спокойно огляделся в квартире, в которой находился уже полчаса. Не квартира, а кукольный домик, уютный, нарядный, как из мультфильма. Все светлое, ни одного темного пятна, кроме окровавленного тела хозяйки. На кухне белая мебель, белый линолеум, в комнатах бледно-желтый паркет, голубые, в розовый цветочек обои, шторы с оборочками, диван и два кресла обтянуты чехлами из такой же ткани, как шторы. На диване три большие куклы в кружевных платьях, в шляпках и башмачках. Куклами заполнен светлый полированный сервант. Посередине комнаты круглый стол, накрытый нежно-розовой вязаной скатертью с длинной бахромой, на столе хрустальная ваза с тремя тюльпанами, большая коробка шоколадных конфет «Черный бархат», перевязанная ленточкой.

– Что, гости приходили? – обратился Бородин к Люсе.

Телечкин думал, что она ответит молчанием, но ошибся. Девочка довольно живо откликнулась на вопрос Бородина, вздрогнула и выпалила во все горло:

– Нет!

– Значит, у кого-то день рождения?

– Нет, никакого рожденья, никого здесь не было. – Она заерзала на стуле и густо покраснела, отчего пятна белой мази на ее лице стали еще заметней.

– А откуда цветы, конфеты?

– Просто так.

– Ну понятно, – кивнул Илья Никитич, – и кто же все это принес просто так?

– Никто. – Девочка опустила голову и принялась заплетать косичку из бахромы скатерти.

– Люся, за что ты убила свою тетю? – мягко спросил Илья Никитич.

В ответ никакой реакции.

– Ну, хорошо, допустим, ты сама не понимаешь за что. Ты живешь с тетей или в гости приехала?

Люся закончила одну косичку и начала другую. Илья Никитич повторил свой вопрос, но девочка как будто опять лишилась слуха.

– Она сирота, – шепотом ответила за Люсю соседка, – жила вроде бы в какой-то специальной лесной школе под Москвой. Лиля раньше к ней ездила, а совсем недавно решила брать ее к себе на каникулы и на выходные. Просто пожалела. Знаете, она была совершенно одиноким человеком, ее сестра, мать Люси, погибла, а девочка больна. – Соседка подошла ближе к Илье Никитичу и заговорила шепотом: – Мать употребляла наркотики, отец вообще неизвестен. Господи, какая трагедия. Вот, правильно говорят, нет ни одного доброго дела, которое осталось бы безнаказанным. Лиля была хорошим, чистым человеком, и, знаете, у нее был настоящий талант. Вот все, что есть здесь красивого, она сделала своими руками. Шторы, чехлы на мягкой мебели, скатерть, – понятая всхлипнула и громко высморкалась, – честное слово, просто в голове не укладывается, такая трагедия...

– Ну да, ну да... – пробормотал Бородин, встал, подошел к стене и постучал костяшками пальцев. – Скажите, вы шум какой-нибудь слышали?

– Нет, – покачала головой соседка, – ночью было тихо. Я очень чутко сплю, и стенки здесь тонкие. Если что, я бы точно услышала.

– А вечером?

– Вечером тоже было тихо. Конечно, доносились какие-то звуки, голоса, но ничего тревожного.

- То есть криков, грохота мебели вы не слышали?
- Да что вы! Мы бы с мужем моментально прибежали бы на подмогу, вызвали бы милицию. У нас с Лилей были очень хорошие отношения.
- Может, у вас телевизор работал?
- Сломан, – почему-то с вызовом сообщила соседка и покосилась на мужа, который все это время молчал, то ли от нервного потрясения, то ли просто очень спать хотел. Лицо его оставалось непроницаемым.
- Что же вы делали вечером? – не удержавшись, встрял в разговор лейтенант Телечкин.
- Молодой человек, вы думаете, у пожилых людей, кроме как пялиться в телевизор, нет других занятий? – повернувшись к нему всем корпусом, надменно спросила женщина. – Если вас так интересует, что мы делали вечером, я скажу. Мой муж читал «Новый мир», а я перечитывала Голсуорси. Вам объяснить, что такое «Новый мир» и кто такой Голсуорси?
- Не трудитесь, – лейтенант вежливо улыбнулся, – «Новый мир» – толстый литературный журнал в голубой обложке. Голсуорси – английский писатель, автор «Саги о Форсайтах». – Он поймал хитрый, одобрительный взгляд Бородин. Старик ему весело подмигнул, и Телечкин подмигнул в ответ.
- Илья Никитич, можно вас на минуту? – позвал медэксперт.
- Извините. – Бородин вышел в кухню.
- Смерть наступила не более двух часов назад, – произнес эксперт, закуривая и усаживаясь на табуретку, – зверь, а не ребенок. На теле восемнадцать ножевых ранений, шесть из них на спине. То есть она сначала убила, потом подтащила к батарее, усадила.
- И заметьте, все это как бы шепотом и на цыпочках, – добавил Илья Никитич, – стены фанерные, слышимость стопроцентная.
- Конечно, дом-то панельный, – кивнул эксперт и протянул Бородину открытую пачку сигарет, – угощайтесь.
- Спасибо, не курю. – Бородин присел на корточки у трупа. – Между прочим, симпатичная была женщина.
- Да, ничего, – кивнул эксперт.
- Молодая, интересная, одинокая. Отличная хозяйка, чистюля, рукодельница. – Бородин задумчиво взглянул на эксперта. – Знаете, женщины, которые вяжут ажурные скатерти, должны отличаться спокойствием и терпением.
- Вот это как раз могло вывести из себя психопатку-племянницу, – заметил эксперт.
- Восемнадцать ножевых ранений. – Бородин покачал головой. – Так убивают во время дикой, пьяной драки, после громкой ругани. Как правило, жертва сама провоцирует убийцу и, конечно, сопротивляется, кричит.
- Так убивают психи, маньяки, – криво усмехнулся эксперт и выпустил аккуратное колечко дыма. – А если первый удар был нанесен неожиданно и попал в сердце, то нет ни крика, ни сопротивления.
- Сразу в сердце может попасть человек, который знает, где оно, – проворчал Бородин, – и рука должна быть точной, сильной. Конечно, возможны всякие случайности.
- Вольно же было рисковать, брать домой ребенка, который должен находиться в специальном учреждении. – Эксперт пожал плечами и выпустил сразу три колечка дыма. – Знаете, с каждым новым насильственным трупом я все больше убеждаюсь, что у нас восемьдесят процентов населения страдает слабоумием. Совершенно бредовое убийство.
- Бредовое... – эхом отозвался Илья Никитич. – Слушайте, а почему все-таки жертва не кричала, не сопротивлялась?
- Вы меня спрашиваете? – поднял брови эксперт.
- Да нет, себя, – улыбнулся Бородин, – просто размышляю вслух. Соседи говорят, вечером и ночью было тихо. И в квартире никаких следов борьбы...

– Малышка сначала напоила свою любимую тетю клофелином, а потом уж стала резать, – хмыкнул эксперт, – впрочем, для слабоумной это слишком хитро. Вскрытие покажет. Следы на посуде если и были, то милая детка все вымыла – пол, посуду. А может, она симулирует слабоумие? Хотя столько раз ударить ножом, это надо быть не просто психом – настоящим зверюгой. Вообще, чушь полная.

– Чушь, – кивнул Бородин.

Убитая, Коломеец Лилия Анатольевна, пятьдесят девятого года рождения, жила одна, детей не имела и, судя по паспорту, замужем никогда не была. Работала художником-дизайнером на игрушечной фабрике. В коробке с документами лежало свидетельство о смерти Коломеец Ольги Анатольевны, шестьдесят второго года рождения. Дата смерти – тридцатое июня восемьдесят девятого года, причина – суицид. Тут же имелось свидетельство о рождении Коломеец Людмилы Анатольевны. В графе «отец» стоял прочерк. Илья Никитич обратил внимание на дату: шестое июня восемьдесят пятого года. То есть вчера Люсе исполнилось пятнадцать.

– Люся, сколько тебе лет? – спросил он, не надеясь услышать ответа. Однако девочка произнесла громко и четко:

– Четырнадцать.

– А когда у тебя день рождения?

– Не знаю. – Голова ее ушла в плечи, лицо ничего не выражало.

– Врет, – прошептал на ухо Бородину лейтенант Телечкин, – адрес знает и год рождения знает, не могла она забыть день и месяц, точно, не могла, вообще, она не такая психованная, как хочет казаться.

Бородин взглянул на него с интересом, молча кивнул и опять обратился к Люсе:

– Ты что, лук ела? Очень сильный запах.

– Нет. Я луком голову мажу, чтоб волосы лучше росли.

– Это кто тебя научил? Тетя?

– Нет, фельдшерица у мамы Зои.

– А кто такая мама Зоя?

– Кто? – испуганным шепотом переспросила девочка.

– Ну, ты только что сказала: мама Зоя.

– Я не говорила, я не знаю, спросите тетю Лилию. – Глаза ее метались, веки дрожали, лицо стало багровым.

– Тетя Лилия умерла, – мягко произнес Бородин, – ты же сама сказала, что убила ее. Может, ты расскажешь, как ты это сделала?

– Никак.

– То есть ты ничего не помнишь?

– Помню.

– Что именно?

– Я убила тетю Лилию. Люся плохая. Воняет.

– Ну пойдем, ты мне покажешь, как все случилось.

Девочка замерла, как будто перестала дышать.

– Люся, пойдем на кухню.

– Нет. Я боюсь.

– А убивать не боялась?

– Нет! – громко прошептала девочка и тут же бессильно откинулась на спинку стула, закрыла глаза и быстро забормотала: – Не надо, пожалуйста, нет... кровь... я боюсь... не надо, ей больно... – Лицо ее побелело, губы продолжали шевелиться, но уже беззвучно.

Трассолог подошел к столу, потянулся к конфетной коробке, чтобы снять отпечатки. Люся дернулась, словно ее ударило током. Илья Никитич сдвинул брови и помотал головой,

трасолог молча пожал плечами и удалился на кухню. В комнате повисла тишина. Девочка сидела с закрытыми глазами и беззвучно шевелила губами.

– Люся, ты любишь шоколад? – ласково спросил Бородин.

Она встрепенулась, открыла глаза и принялась опять заплетать косичку из бахромы.

– Тебе подарили конфеты, а ты даже не попробовала. – Илья Никитич прикоснулся к коробке.

– Не трогайте! – крикнула Люся и густо покраснела.

– Почему?

– Это мое! Мне подарили!

– Кто?

– Один человек, – она тряхнула головой и кокетливо поправила волосы.

– Как его зовут?

– Не скажу.

– Он приходил вчера вечером и подарил тебе на день рождения конфеты и цветы?

Люся вдруг вскочила, резко вскинула руки, как будто собиралась наброситься на Бородину, но всего лишь прижала ладони ко рту, рухнула назад, на стул, и замерла. Больше она не произнесла вообще ни слова.

Прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Люся покорно делала все, что ей говорили: умылась, оделась. Вещи ее, широкие светлые джинсы и синяя футболка, были аккуратно сложены на стуле в маленькой комнате, у застеленной кровати. Ни на какие вопросы она не отвечала, как будто окончательно разучилась говорить. Лицо ее побледнело до синевы, глаза смотрели в одну точку, не моргая, движения были вялыми, замедленными. Санитар помогал ей. Окончательно собравшись, она встала посреди комнаты, грызя ногти и ожидая следующих приказаний.

– Что вы можете о ней сказать? – спросил Илья Никитич психиатра, энергичную молодую женщину, когда та задержалась на лестничной клетке, прикуривая.

– Нормальная олигофренка в стадии дебильности, – врач пожал плечами, – в принципе вполне дееспособна. Есть четкие признаки аггравации.

– То есть, вы считаете, она сознательно преувеличивает свое болезненное состояние?

– А вы не видите? Говорить она может, однако молчит.

– Самооговор возможен?

– Ну, это уж вам разбираться.

Люсю увезли, труп вынесли, в квартире продолжался обыск.

В платяном шкафу, в комод, на маленьких антресолях царил идеальный порядок. Зимняя одежда была зашита в старые пододеяльники и наволочки, летняя покоилась в шкафу на плечиках, ровные стопки крахмального постельного белья были переложены холщовыми мешочками с сушеной лавандой. Каждый мешочек стянут пестрым плетеным шнурком, и на каждом красовалась крошечная вышивка: цветочки, грибочки, вишенки.

Небольшой книжный шкаф был заполнен в основном учебниками по рукоделию, книгами типа «История русской игрушки», «Дети и мир детства XIX века», «Энциклопедия кукольной моды». Дорогие, красочные издания с отличными цветными иллюстрациями. На нижних полках лежали стопки журналов «Верена», «Бурда моден» и множество других, посвященных вышивке, плетению кружев, кукольной и детской одежде. Художественная литература, в основном классика, скромно ютилась во вторых рядах. Читать хозяйка не любила, да и некогда ей было. Для того чтобы так украсить каждую мелочь в доме, надо отдавать рукоделию все свое свободное время.

Чего не было в квартире, так это денег. Даже в сумочке убитой, с которой она, вероятно, выходила на улицу в последний раз, не нашлось ни копейки. Никаких сберкнижек, кредитных карточек. Не было ни одного ювелирного украшения, ни в квартире, ни на убитой. Соседи,

разумеется, не знали, сколько могло быть в доме денег, о ювелирных украшениях тоже понятия не имели. Правда, соседка вспомнила, что Лиля носила дорогие сережки, золотые, с крупными голубыми сапфирами, причем носила не снимая.

В ящиках письменного стола лежали папки с аккуратными выкройками из папиросной бумаги, поздравительные открытки, два альбома с фотографиями. Их Бородин решил взять с собой, чтобы просмотреть не спеша. Что-то еще не давало ему покоя. Он сел за стол, занялся протоколом и вдруг застыл, уставившись на хитрый узор вязаной скатерти.

Если женщина занимается рукоделием, должны где-то храниться нитки, спицы, крючки, ножницы, лоскутки ткани, огромное количество всякого швейно-вязального добра. Даже у его мамы, которая уже второй год вязала ему один несчастный свитер, был целый сундучок с пряжей, пуговицами, лоскутками.

В доме убитой имелась дорогая швейная машинка, но не было ни одной катушки ниток, ни одного мотка пряжи.

«Бред, – усмехнулся про себя Илья Никитич, – допустим, в голове у слабоумной девочки что-то сдвинулось и она в состоянии психоза принялась бить тетюшкой ножом. Ну ладно, бывает. Потом выгребла все деньги и драгоценности, возможно, сапфировые серьги вытащила прямо из ушей убитой, а заодно прихватила нитки с пуговицами, куда-то вынесла все это, спрятала, вернулась в дом, увидела мертвую тетю, испугалась, опять побежала на улицу, почему-то в ночной рубашке и босиком. Бред! А вообще, медэксперт прав. Чем больше работаешь с насильственными преступлениями, тем больше убеждаешься в слабоумии восьмидесяти процентов людей».

Илья Никитич отказался ехать в управление на машине. Ему хотелось немного погулять. К рассвету небо расчистилось, после ночного дождя воздух стал мягким, шелковистым, как ключевая вода. После бессонной ночи немного кружилась голова, познабливало, но чувствовал он себя удивительно бодрым. Он злился, а это его всегда бодрило.

– Ну да, конечно, мир сошел с ума, все кругом идиоты, одни мы с вами умные, господин эксперт, – сердито бормотал себе под нос Илья Никитич, вышагивая по пустому утреннему переулку, – на самом деле, когда начинаешь так думать о себе и о других, кричи караул, беги к доктору. Это первый признак деградации, старческого слабоумия. Не знаю, как вы, господин эксперт, а я, следователь Бородин, – старый идиот. Я упорно отказываюсь от мысли, что убийцей все-таки может оказаться эта несчастная толстая девочка, хотя версия вполне полноценная. Мне просто ужасно не хочется в это верить. Но главное, я не могу понять, каким образом удалось нанести здоровой молодой женщине восемнадцать ножевых ранений так, что она не закричала, и совершенно не представляю, зачем убийце понадобились нитки и пуговицы?

За многие годы он усвоил одну жестокую истину. Чтобы стать жертвой даже самого случайного и немотивированного убийства, надо хоть немного, да подставиться. Есть вещи, которые делают человека уязвимым: деньги, особенно чужие, водка, наркотики и так далее. Расследуя дела о насильственных преступлениях, Бородин почти всегда наткался в биографии жертвы на момент выбора. Момент этот мог быть запрятан где-то глубоко в прошлом и крайне редко выглядел как выбор между жизнью и смертью. Почти каждой сегодняшней жертве вчера пришлось выбирать между легкими деньгами и трудными, между весельем и скукой, удовольствием и отказом от удовольствия.

У непьющего очень мало шансов получить бутылкой по голове. У девочки, которая сидит дома и учит уроки, конечно, есть шанс попасть в руки маньяка, насильника или подсесть на иглу, но он в сотню раз меньше, чем у той, что порхает по улицам и по дискотекам с разукрашенным лицом.

Мужичок-командированный рискует быть ограбленным в поезде или в дешевой гостинице, однако если в скучной командировке он желает побаловаться платной любовью, риск значительно возрастает. Очень опасная работа у челночников, но если в своих огромных поло-

сатых сумках они соглашаются припрятать несколько упаковок героина, работа становится еще опасней.

Крупный бизнесмен или политик отличается от челночника и алкаша только масштабами, размахом. Выбор маскируется еще коварней, он прикидывается тупиком. Не своруешь, не солжешь, не подставишь конкурента, не подружишься с бандитами – можешь прощаться с любимым делом, которое приносит столько денег, славы, кайфа, что становится дороже жизни.

Выбор между жизнью и смертью хитро маскируется под увлекательную игру. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Однако фокус в том, что риск должен быть благородным и бескорыстным, в противном случае в победном бокале шампанского может оказаться клофелин либо другая дрянь.

Илья Никитич любил запутанные, сложные дела. Он знал, что сейчас ему в руки попало именно такое дело. Будет трудно доказать, что Люся не убивала, он сам в этом не уверен. Не просто будет вычислить и найти «одного человека», если он действительно существует, потому что конфеты и цветы вполне могла принести сама Коломеец племяннице на день рождения.

Обычно трудности заставляли Бородину подтянуться, выпрямиться, он молодел, щеки розовели, в глазах появлялся блеск. Однако сейчас злость его была далека от здорового азарта бодрячка-следователя, который потирает ладошки и с творческой жадностью выстраивает изумительные логические комбинации.

Илья Никитич злился потому, что ему было до ужаса, до озноба жалко тихую, одинокую молодую женщину, которая придумывала модели кукольной одежды на игрушечной фабрике, вязала кружевные скатерти, вышивала вишенки на мешочках с сухой лавандой и никого не трогала. У Лилии Анатольевны Коломеец выбора не было. Она не собиралась рисковать и пить шампанское. Она ничего не выигрывала, когда брала на выходные психически больную племянницу.

Бородин так глубоко задумался, что не смотрел по сторонам. Район был знакомый, еще выйдя из подъезда, он сообразил, что метро совсем недалеко и пройти можно переулками и проходными дворами. Пересекая очередной двор, он споткнулся, ударился коленкой о какую-то здоровенную железную трубу, торчавшую из земли, и едва удержался на ногах. Здесь ремонтировали подземные коммуникации, взрезали асфальт, все разрыли и забыли поставить ограждения. Илья Никитич огляделся. Обойти разрытый участок можно было по детской площадке. Прихрамывая, он двинулся дальше, и тут в нос ударила нестерпимая вонь. На бортике песочницы сидела парочка бомжей. Мужичок дремал, припав к плечу своей подруги, а подруга сосредоточенно возилась в небольшом плетеном сундучке, который стоял у нее на коленях, перебирала что-то яркое, мягкое. Бородин замер. Бомжиха подняла лицо. Оба глаза украшали фингалы, совершенно симметричные, но разного цвета. Один свежий, густо-вишневый, с лиловым отливом, другой старый, зеленовато-желтый.

– Че уставился? – поинтересовалась бомжиха. – Иди, куда шел.

В черных заскорузлых пальцах, как живой, дрожал нежно-розовый шелковистый моток пряжи, той самой, из которой была связана скатерть с длинной бахромой в квартире убитой.

Глава вторая

Редакция журнала «Блюм» занимала первый этаж маленького особнячка в одном из уютных переулков в центре Москвы. Довольно было беглого взгляда на особняк, на его зеленый ухоженный дворик, на ряд иномарок в этом дворике, чтобы понять, что здесь обитают не самые бедные фирмы и организации.

Несмотря на жестокую конкуренцию, «Блюм» процветал. Он выходил раз в месяц, печатался в Финляндии на великолепной бумаге, имел полдюжины приложений. Недавно при редакции открылся потрясающий клуб, почетным членством не побрезговали яркие эстрадные звезды, известные художники, писатели, кинорежиссеры, молодые политики, состоятельные бизнесмены, прочие приятные и полезные личности.

Толстый красочный «Блюм» начал издаваться десять лет назад и работал на так называемую продвинутую молодежь. Типичный читатель «Блюма» был молодой человек от двадцати пяти до тридцати пяти лет, коренной житель мегаполиса, с высшим образованием, скорее гуманитарным, чем техническим, с неплохим знанием одного или двух иностранных языков, не обремененный семьей, детьми и предрассудками. Он носил длинные волосы и серебряное колечко в ухе, любил обувь и галстуки необычайно ядовитых расцветок, умеренно покуривал марихуану, готов был в любую минуту щедро поделиться всеми оттенками своих эротических переживаний с первым встречным, активно боролся за свободу порнографии и любые возражения на этот счет объявлял фашизмом. Проявления обычных человеческих чувств считал тошнотворной сентиментальностью, публично высмеивал то, что вовсе не смешно, и свое глумливое мнение высказывал даже тогда, когда никто не спрашивал.

Типичная читательница «Блюма», кроме природных половых признаков, отличалась от своего собрата-мужчины только тем, что волосы стригла очень коротко, иногда наголо, и украшала интимные места изящными разноцветными татуировками.

Из ста страниц дорогостоящей журнальной площади около семидесяти занимала реклама, на остальных тридцати теснились фоторепортажи с самых модных тусовок, статейки о сексе, интервью с сомнительными психологами, утверждавшими, что в основе материнской любви лежит подсознательное стремление к инцесту, а усердие в работе есть следствие придушенных половых инстинктов. Пару страниц занимали издевательские обзоры новинок кино, театра и литературы, новости авангардной моды. На десерт подавалось нечто остренькое: фотоочерк о ночной жизни бара, где находят свое счастье гомосексуалисты. Сенсация – открытие вируса, поднимающего мужскую потенцию до космических масштабов. Игривый репортаж с черной мессы или с натурального шабаша новомодной нечистой силы на каком-нибудь подмосковном кладбище.

Обычно после сдачи очередного номера и засылки готовых материалов в Финляндию в редакции несколько дней стояла блаженная тишина. Сотрудники отдыхали. Для заместителя главного редактора Олега Васильевича Солодкина эти несколько дней были самым любимым временем. Он приходил на работу раньше обычного, часам к десяти, варил себе крепкий кофе, включал компьютер, вставлял в него компакт-диск «Битлз» или «Роллинг стоунз», много курил и пытался создать что-нибудь гениальное.

В «Блюме» Олег работал со дня его основания, главный редактор был его сокурсником по сценарному факультету Института кинематографии. Собственно, они вдвоем и создали журнал. На должность главного Олег никогда не претендовал, его вполне устраивало положение вечного заместителя.

Олег жил в пятикомнатной квартире с мамой, женой Ксюшей, которая была вдвое моложе его и три месяца назад родила ему дочь. Имелась еще двухэтажная теплая дача под Москвой. Однако все это безраздельно принадлежало его энергичной царственной матушке Галине

Семеновне, и крошечный кабинет в редакции оставался единственным местом, где он чувствовал себя защищенным, как в раннем детстве под столом, когда вокруг шумят взрослые приставучие гости, а ты сидишь, укрытый мягкими складками скатерти, и тебя не видно.

В одиннадцать утра, в четверг восьмого июня вокруг Олега в его любимом рабочем кабинете плескалась такая мягкая, свежая, перламутровая тишина, что он даже не стал включать музыку. Олег уже второй час сидел перед экраном компьютера. Тонкие вялые пальцы зависли над клавиатурой и заметно дрожали. На белом экране чернели огромные жирные буквы, всего две строчки:

«Творчество есть акт душевного эксгибиционизма. Николай Васильевич Гоголь искусственно удлинил свой нос, чтобы он напоминал его половой орган».

Олег собирался написать статейку о том, что все гении были сумасшедшими. Собирался давно, уже второй месяц. Каждый день он садился за стол, включал компьютер, производил на свет не более трех фраз, уничтожал, писал следующие, опять уничтожал, и так до бесконечности. Сегодня, кажется, был удачный день. Из написанного Олег изъял только одно слово «эксгибиционизм», заменив его более простым и емким: «стриптиз». Однако словосочетание «душевный стриптиз» неприятно резануло по глазам. Это был штамп, а штампов он терпеть не мог. Он опять уничтожил все, стал мучительно выдумывать новую фразу для начала статьи, но тут зазвонил внутренний телефон.

Олег удивился. Вчера очередной готовый номер был заслан в Финляндию, из этого следовало, что сегодня до часа дня никто из сотрудников на работе не появится, и никаких визитеров он не ждал.

– Олег Васильевич, девушки к вам просятся, – сообщил охранник.

– Какие девушки? – поморщился Олег и хотел уже сказать, чтобы никого к нему не пропускали, но охранник произнес в трубку с лукавым смешком:

– Одинаковые.

До Олега дошло наконец, о ком идет речь. Семнадцатилетние близняшки, очень хорошенькие. Он познакомился с ними примерно полгода назад, имел глупость дать им свой рабочий телефон, с тех пор они регулярно звонили и несколько раз заявлялись в редакцию, просто так, в гости. На них обратил внимание один из журнальных фотографов, вручил им визитку и обещал, что они попадут на обложку.

– Ладно, пропусти, – сказал он охраннику.

Через минуту крошечный кабинет наполнился мелодичным смехом и запахом резких сладких духов. Они вошли, покатываясь со смеху. Прежде чем поздороваться с хозяином или хотя бы обратить на него внимание, принялись поправлять волосы и подкрашивать губы перед зеркалом, толкаясь и резвясь, как сытые котята, затем уселись на подлокотники единственного кресла, одновременно закурили, досмеялись и, только когда окончательно оккупировали все пространство кабинета, соизволили сказать хором:

– Привет. Как дела? – и тут же опять захихикали.

Они были красивы и нахальны. Высокие, тонкие, с длинными светлыми волосами, с правильными кукольными личиками. Их абсолютное сходство удваивало эффект, они это знали и вели себя так, словно их присутствие являлось огромным, незаслуженным подарком для всех окружающих. Обычно они одевались одинаково, на этот раз их короткие открытые платья были разного цвета. На одной белое, на другой черное.

– Ну и где ваш фотограф? – спросила та, что была в белом.

– Зачем давать телефоны, по которым невозможно дозвониться? – добавила черная.

– Я вообще-то занят, – хмуро заметил Олег, стараясь не глядеть на них.

– А вы позвоните фотографу домой. Там на визитке только телефон редакции и фото-студии. Домашнего нет.

– Хорошо, – кивнул Олег, – я позвоню. Но сейчас мне некогда.

– Что, так долго набрать номер?

«Ладно, – с раздражением подумал Олег, – если этот придурок Киса пообещал снять их на обложку, пусть сам и разбирается».

Он достал записную книжку, нашел домашний номер фотографа, переписал на бумажку и протянул девицам.

– Все, идите, мне надо работать.

– А ручки-то трясутся, – сочувственно заметила белая и взяла у него бумажку, – перебрал вчера, что ли? – Она весело подмигнула и уставилась на Олега ясными, чистыми, небесно-голубыми глазами.

– Нет, – покачала головой черная, – водка – это слишком грубо. У Олега Васильевича изысканный вкус. Олег Васильевич если пьет, то французский коньяк.

– От дорогого коньяка совсем другое похмелье, – заметила белая, – я подозреваю, что Олег Васильевич как истинный аристократ балуется кокаинчиком или героинчиком.

Обе тихо захихикали, и белая, продолжая сжигать его ледяными прекрасными глазами, грациозно соскользнула с подлокотника, обошла стол, коснулась плеча Олега небольшой упругой грудью, прижалась губами к его уху и прошептала:

– Пардон, я шучу.

– Как ты себя ведешь? – Олег отстранился и легонько хлопнул ладонью по столу. – Слушайте, красавицы, будете хулиганить, на обложку не попадете.

– Ну я же извинилась, – обиженно мяукнула белая и вернулась в кресло.

– Все, девицы, я занят, – буркнул Олег, уставившись в экран компьютера.

Дрожь била его все сильнее.

– Олег Васильевич, можно, мы от вас позвоним фотографу? – спокойно, вежливо попросила черная.

– Нет. Я занят.

– Все творите, – вздохнула белая. – Можно вас спросить?

– Можно... – Олег болезненно поморщился и под столом сжал в кулаки влажные трясущиеся руки.

– Над чем вы сейчас работаете?

– Не твоё дело. – Олег почувствовал, что рубашка стала мокрой под мышками.

– Ой, как грубо, – черная грустно покачала головой, – вы же хороший, Олег Васильевич, вы такой добрый. Может, у вас неприятности и вы сильно нервничаете? Давайте мы вам поможем расслабиться. – Она прикрыла глаза и медленно провела по губам кончиком языка.

– Вы уйдёте когда-нибудь? – Олег сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладонь. – Я сейчас вызову охрану, и вас проводят.

– Куда? – хлопнула глазами черная.

– Разве мы вас чем-то обидели? – Белая ослепительно улыбнулась. – Мы вам помочь хотим, от чистого сердца. Разве мы виноваты, что у вас какие-то неприятности?

– Уйдите, пожалуйста, уйдите, – простонал Олег и добавил чуть слышно: – Это невыносимо.

– Можно позвонить от вас Николаю Павловичу? – потупившись, спросила белая. – Мы только позвоним и сразу уйдём.

Олег молча снял трубку, набрал домашний номер фотографа, долго слушал протяжные гудки, решил, что Кисы нет дома, и хотел уже нажать кнопку отбоя, но тут раздался высокий сонный голос:

– Аллю!

– Киса, привет, – мрачно буркнул Олег, – ты обещал девочкам-близняшкам, что снимешь их на обложку?

– Олег, я ещё сплю, – громко зевнув, сообщил Киса.

– Ты спишь, а у меня сидят девочки и не дают мне работать. Ты обещал, теперь делай с ними что хочешь. – Он передал трубку белой.

Минут через пять, договорившись с фотографом о встрече, они вежливо попрощались и ушли.

Когда дверь за ними закрылась, Олег долго не мог прикурить, так тряслись руки. Наконец, жадно затянувшись, он произнес вслух несколько грязных ругательств, адресованных вовсе не красоткам, а самому себе, двинул мышь, чтобы убрать заставку с экрана компьютера, и принялся мучительно выдумывать начало статьи о сумасшедших гениях. Но голова была пуста. Прошло минут десять, не меньше. Во рту дрожала потухшая сигарета. На экран села жирная муха.

Олег выплюнул окурок прямо на пол, себе под ноги, дунул на муху, на экране опять включилась заставка, кирпичный лабиринт. Муха легко просочилась сквозь стекло и двинулась по лабиринту внутри компьютера, поползла, сначала медленно, нехотя, потом все быстрее. Олег наблюдал, как неприятное насекомое подрагивает слюдяными крылышками, суетливо перебирает проволочными лапками. Нутро компьютера гнусно гудело. Лабиринт наполнялся белыми жирными личинками, они ползли, переливаясь мягкими ячеистыми телами. Олег двинул мышь, лабиринт исчез, однако вместо букв на экране зашевелились черные мухи.

«По свидетельству поэта Языкова, Гоголь рассказывал, будто в Париже его осматривали знаменитые врачи и нашли, что желудок его перевернут вверх дном», – быстро отбил Олег, однако не сумел прочитать написанного. Жирные мухи, и ни одной буквы. Он понял, что насекомые попадают внутрь компьютера непосредственно из его головы. Черепная коробка была полна мух, они невыносимо громко жужжали, ползали по мозговым извилинам и откладывали там личинки. Резкая зудящая боль разрывала голову, бежала по позвоночнику, по ребрам, быстро и беспощадно заполняла все тело. Не было ни одной косточки, не захваченной болью. Из глаз брызнули слезы, кожа покрылась мурашками, знобило все сильнее. Он знал, что это начало ломки. Стадия первая. Опытные люди называют ее «холодная индейка».

Нет ничего проще и приятней, чем принять решение. Сразу чувствуешь себя сильным, правильным, положительным человеком. Сколько раз он это проходил? Десять или сто? Он давно сбился со счета. Очередной доктор снабдил его методоном, синтетическим заменителем опиума. Наивный доктор решил лечить его по методоновой программе. Двадцать дней усмирять абстинентный синдром жалким подобием кайфа, сочетая это с психотерапией и самовнушением.

– Я спокоен, я абсолютно спокоен, – забормотал Олег, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза, – я не хочу кайфа, мне и так хорошо, мне отлично, как висельнику в предсмертной агонии, как психу, которого исцеляют электрошоком. Я брошу, я переломаюсь и буду жить дальше, стану полноценным членом неполноценного общества. У меня есть мама, она меня любит. У меня есть жена Ксюша, она молодая и красивая. У меня есть дочь Маша, ей три месяца. Я очень счастлив. Мой отец умер от инфаркта после разговора с очередным всезнайкой-наркологом, который честно сказал ему, что у меня нет шансов. Мать постоянно обвиняет меня в смерти отца. Я виноват. Я виноват во многом другом, страшном и непоправимом, но об этом невозможно думать. Я забуду. Это тоже ломка, и я справлюсь, мне не привыкать. Я переломаюсь и стану другим человеком. Нет, не человеком. Ангелом.

Влажные дрожащие пальцы медленно задвигались по клавиатуре, на экране возникла фраза:

«Сколько ангелов умещается на кончике иглы?»

Буквы зашевелили слюдяными крылышками. По позвоночнику медленно потекла струйка ледяного пота.

Кроме методона, у него была с собой доза ЛСД-25. Маленькая ампула с прозрачной жидкостью без цвета и запаха. Волшебная капелька живой воды, полученная из красной споры-

нии путем таинственных превращений. Лучший из психоделиков. Пурпурный туман. Золотой солнечный луч. Оранжевое сияние. Достаточно просто протянуть руку, залезть в свою сумку, которая висит на спинке стула, и через несколько минут мир наполнится изумительным светом, исчезнет боль, отпустит, наконец, невыносимое чувство вины, мухи превратятся в бабочек, вместо жужжания зазвучит сладкая нездешняя музыка, начнется сказочное путешествие вне времени и пространства.

На самом деле, завязывать вовсе не надо. Рано или поздно человек все равно умирает. Время – понятие относительное, все зависит от того, как ты его воспринимаешь. Десять лет могут пролететь, как один день, а день может тянуться вечно, причем это будет вечность в аду, если не уколоться. Но какая райская легкость и ясность после укола! Какая творческая бодрость! Человек, ни разу не испытавший изумительного состояния, которое называется «приход» или «флэш», просто не знает, что такое настоящая жизнь. Пусть он умрет глубоким стариком, в своей постели, окруженный детьми, внуками и правнуками, пусть он никогда ничем не болеет, до самой смерти, пусть будет богатым, знаменитым, успешным. Все равно, если он ни разу не испытал настоящего кайфа, он умрет несчастным.

Олег Солодкин отбил на компьютере этот текст, откинулся на спинку стула и закурил. Он раздумал писать статью о сумасшедших гениях. Она требовала энергичной зависти к мертвым гениям и презрения к живым идиотам, которые преклоняются перед мертвыми гениями. Она требовала злобы и бесстыдства. Все эти чувства не покидали Олега, когда он пытался завязать, терпел ломки, сходил с ума. Но теперь он вернулся к родному, знакомому кайфу, был спокоен и счастлив.

Что такое человек? Кусок дерьма, горсть навоза, созданная для удобрения почвы. Плюс дежурный набор воспоминаний, приятных и противных, череда кайфа и ломки. Если жить, как все, следуя затертым общепринятым штампам, то кайфа будет страшно мало, а ломки чудовищно много. Без наркотиков соотношение кайфа и ломки зависит от хаотичного сплетения случайностей, от везения, от судьбы, от прихотей других людей. Как известно, ад – это другие, которым до тебя нет дела, но которые лезут к тебе, пытаясь подчинить тебя своим кретинским законам, самоутвердиться за твой счет, манипулировать тобой, как теплой податливой марионеткой. Но если колоться и не бояться этого, то вместе со шприцем, наполненным волшебной влагой, в твоих руках весь мир. Ты хозяин. Ты главный. Ты все решишь сам и создаешь свою собственную среду обитания, свою реальность.

Единственная реальность – это Я, огромный, как космос, и крошечный, как неделимое атомное ядро. Мое детство, моя юность, мой кайф, мои ломки. Больше я ничего не знаю и знать не хочу.

Олег Солодкин залюбовался компьютерным экраном. Белое светящееся пространство почти целиком заполнилось строками. Ему больше не хотелось уничтожать написанное. Он был полностью доволен собой. Ему понравился стиль, его вдохновили собственные меткие выражения.

Дежурный набор воспоминаний – это класс!

* * *

Увидев сундучок с нитками, Илья Никитич совсем недолго стоял как вкопанный и глядел в разноцветные глаза бомжихи. Она разразилась таким выразительным матерным монологом, что он мгновенно расстался с надеждой на спокойный душевный разговор и побежал к метро, чтобы вернуться в сопровождении милиции. Он летел легко, как профессиональный спринтер, и удивлялся. Если учесть возраст, комплекцию, темперамент и ушибленную коленку, такая скорость была невозможным чудом.

Ушиб дал знать о себе позже, когда драгоценные свидетели с визгом и плачем были доставлены двумя милиционерами в ближайшее районное отделение. Бородин спокойно сел, отдышался, приступил к допросу, и вот тут коленка заболела всерьез. Илья Никитич даже подумал, что надо будет зайти в поликлинику, чтобы посмотрели, нет ли трещины.

Симакова Нина Дмитриевна оказалась старой знакомой участкового инспектора. До недавнего времени Симакова была прописана и проживала по адресу Второй Калужский, дом 8, квартира 17, то есть в том же доме и в том же подъезде, где произошло убийство. Свою крошечную однокомнатную квартиру она превратила в притон, там круглосуточно гудели ее собутыльники, среди которых главным был Рюриков Иван Николаевич, житель соседнего дома.

Этот трехэтажный домишко давно не имел даже номера, его уже лет двадцать собирались снести, однако почему-то не сносили. Он был населен всяким сбродом. Пару лет назад Сима продала свою жилплощадь кавказцам с ближайшего рынка, а сама переселилась к Рюрику. Некоторое время они жили в любви и согласии, но, когда деньги кончились, стали жестоко ссориться. Сима решила вернуться домой и долго не могла взять в толк, что дома у нее уже нет, осаждала жэк и районное отделение милиции, клялась, что ее неправильно поняли, она не собиралась продавать квартиру навсегда, а просто сдала ее на год. В итоге она поселилась в своем подъезде, между этажами. Сначала вела себя тихо, спала на детском матрасике, трогательно свернувшись калачиком. На дворе стояла лютая зима, жильцы подъезда жалели Симу, не выгоняли, выносили для нее горячий чай, еду и даже пригласили корреспондентов из программы «Времечко». Сима произнесла перед камерой пламенную речь о том, что ее бедственное положение – результат преступного сговора бюрократов-взяточников из районной администрации и кавказской мафии. Прославившись на всю страну, Сима загуляла, стала приводить к себе на лестничную площадку гостей, и тут сострадание жильцов иссякло. Симу выдворили при помощи милиции, вместе с матрасиком. После недолгих скитаний по вокзалам она опять вернулась, но уже не на лестничную площадку, а к Рюрику. Однако блистательный дебют во «Времечке» странным образом повлиял на ее темперамент. Она уже не мыслила себя без общественной борьбы, стала завсегдаем митингов и демонстраций, не важно каких, лишь бы накричаться от души и побыть в центре внимания...

– Это ж геноцид над правами человека, в натуре, – звонко причитала Сима, плакала и терла свои разноцветные подбитые глаза грязными кулаками, – на помойке такая прелесть валялась, я подобрала, зачем добру пропадать?

– Ты видела, кто выбросил сундук с нитками? – в третий раз спросил Илья Никитич.

– Ничего не видела, ничего не знаю. Один раз в жизни бедной женщине повезло, а вы, гражданин начальник, хотите на меня сразу мокрое дело повесить? Да Сима за всю жизнь мухи не обидела, любого спроси, Сима последним куском с бродячим животным поделится, а ты говоришь! Я, если хотите знать, в Бога верую, зачем мне на душу такой грех брать? Ну, скажи, на фига он мне, смертный грех? Чтобы на том свете всю дорогу муки адские терпеть? Здесь терплю и там терпеть, да? Последние времена наступили, скоро Страшный суд, за все придется ответить, я себе самой разве враг?

– Стоп, подожди, с чего ты взяла, что речь идет о мокром деле? – перебил ее Илья Никитич.

– А с того, как ты рванул за ментами, старый хрен! – истерически взвизгнула бомжиха. Слезы мигом высохли, глаза сухо, злобно заблестели. – Все вы, суки, готовы слабого обидеть, правильно про вас пресса печатает! Только в нашей бандитской дерьмократии такие беззакония творятся над правами измученной личности! Ничего, и на вашу диктанту управа найдется. Я не боюсь! Мне терять нечего, кроме своих цепей, все скажу, чтобы вы правду чистую про себя знали от простого русского человека пролетарского происхождения!

– Сима, а что такое диктанта? – строго спросил Бородин.

Сима растерянно поморгала, кашлянула и отчеканила:

– Ты, старый извращенец, дуру из меня не делай! Диктанта – это когда безвинного хватают и тащат!

– Как разговариваешь, Симакова? – встрял участковый инспектор. – Давно в КПЗ не отдыхала? Соскучилась? Сейчас быстренько организуем, без проблем.

– А ты меня не пугай! – буркнула Сима и залилась краской. Свежий малиновый синяк под правым глазом стал почти незаметным, зато старый, желто-зеленый, засиял ярче. – И так я вся насквозь больная нервными заболеваниями. Голодаю, холодаю, никакого позитива. Сплошной экономический Чернобыль. Мне вот только кичи не хватало.

– Меньше надо пить и по митингам шастать, а то, я гляжу, ты слов разных умных набралась, – проворчал участковый, – извинись и разговаривай по-человечески, не испытывай мое терпение.

– Ладно, хрен с вами. Извиняюсь, больше не буду. – Симка застенчиво, по-девичьи, улыбнулась щербатым ртом. Настроение у нее менялось ежеминутно. От слезной, жалобной истерики она переходила на сухую, злобную, потом опять жаловалась и вдруг улыбалась, даже с некоторым кокетством. – Если со мной по-доброму, я все скажу.

– Хорошо, Сима, – кивнул Илья Никитич, – давай по-доброму. Откуда ты знаешь про убийство?

– Я ж сказала, животных кормлю, делюсь с ними последним своим куском, с бродячими собачками, кошечками. Вот если ты умный, сам догадаешься, откуда все знаю. Слышь, начальник, дай покурить, а?

– Что ты бредишь, Симакова? – взревел участковый, внезапно теряя терпение. – При чем здесь животные?

– Угости сигареткой, скажу. – Симка шмыгнула носом и поднесла два пальца к губам, показывая, как сильно ей хочется покурить.

Участковый покосился на Бородина. В глазах его читался вполне конкретный вопрос: не пора ли применить к этой наглой женщине положенные в таких случаях крутые меры или еще немножко потерпеть ее безобразное поведение? Илья Никитич в ответ слабо покачал головой, давая понять, что с мерами торопиться не стоит. Участковый пожал плечами и нехотя протянул Симе сигарету. Сима с наслаждением затянулась, сделала таинственное лицо и произнесла:

– Животные все чувствуют, особенно собачки. Они такие лапочки, солнышки, лучше людей в сто раз. Я их люблю, с ними дружу, и мне от них этот божественный дар передался. Слышали, как собаки по покойнику воют? Они жмуров за версту чувуют, вот и я тоже. Я ж грю, я прям эстрасьянс. Носом воздух понюхаю и чую. А ты, прошу прощения, вроде культурный такой человек, – она с упреком покосилась на Бородина, – нет, чтобы спросить спокойно, мол, откуда у тебя, Сима, этот сундучок с ниточками? Уставился на меня, как будто я тебе косуху зеленую должна по расписке, а потом дунул по переулку. Я ведь сразу поняла, что вернешься, чувствовала, надо уходить от греха, однако жаль было Рюрика будить, он так спал на свежем воздухе, сладкий мой, так спал. Эй, Рюрик, скажи им, ничего мы не видели, правда?

Рюрик пока не произнес ни слова. Он был совсем плох. Глаза его закатились, голова слегка покачивалась из стороны в сторону, он вяло шевелил губами, издавая странные утробные звуки. Когда его подруга замолчала на миг, в тишине стало слышно, что он поет старинный романс «Степь да степь кругом» и довольно точно выводит мелодию.

– Так, Рюриков, ты сюда что, концерты пришел давать? Кончай бубнить, Шаляпин недоделанный, – участковый слегка толкнул его в плечо, – давай рассказывай, как дело было. С самого начала и по порядку.

– Я не бубню, – резко вскинул голову Рюрик, – я пою. У меня, между прочим, среднее музыкальное образование. А что недоделанный, это вы точно заметили, гражданин начальник. На правду не обижаюсь. Если бы меня доделали, доучили, приняли в Консерваторию, был бы я сегодня, как Паваротти.

– Ай, ну что ты брешешь, – Симка сморщилась и легонько хлопнула своего друга по губам, – у Паваротти тенор, у тебя бас.

– Ну, бомж пошел образованный, сил нет, – хмыкнул участковый, – Симка – политик, Рюрик – оперный солист. Ладно, граждане, кончаем здесь ваньку валять. Отвечаем на вопросы, как положено.

– Так чего отвечать, если мы не видели ни хрена? – развел руками Рюрик. – Утречком подошли к мусорке, а там куча ниток валяется и сундук соломенный. Вот и все дела.

– Откуда узнали про убийство?

– Я ж сказала, у меня дар божественный, я эстрасьянс самый натуральный. Я бы вам могла все сказать, что было, что будет, чем сердце успокоится, если бы вы со мной по-хорошему, по-доброму.

– Да че ты несешь, дурья башка? Какой ты эстрасьянс? Ментура приехала, труп выносили, это мы видели. А больше ничего, – быстро пробормотал Рюрик и, понурившись, опять принялся тихонько напевать себе под нос.

– Вы бы отпустили нас, граждане-господа, – попросила Сима, жалобно шмыгнув носом.

– Значит, так, сладкая парочка, – откашлявшись, произнес участковый сухим, официальным тоном, – вы оба пока только свидетели, однако именно у вас в руках оказались вещи из квартиры убитой. Ты, Симакова, знаешь всех жильцов третьего подъезда, да и ты, Рюриков, тоже. Вам известно, что в сороковой квартире проживала одинокая, беззащитная женщина. Вот вы и решились на ограбление с убийством.

Илья Никитич, морщась от боли, попытался вытянуть больную ногу, но не смог. Коленка ныла нестерпимо. Надо было кончать эту бодягу, отпускать несчастных бомжей. Убийца вышел из подъезда не позже половины второго ночи. На то, чтобы распотрошить сундук с нитками, ему понадобилось минут пятнадцать. Потом он исчез, а бомжи явились к помойке только на рассвете. Прошло не меньше трех часов. Никакие они не свидетели.

– У-у! – протяжно взвыла Симка. – Смерти моей хочешь?

– Ну давай, Симка, колись, утомила! – крикнул участковый, приблизив лицо к перепуганной бомжихе.

Симка тряслась как в лихорадке, без спросу вытянула еще одну сигарету из пачки, цапнула со стола зажигалку, стала быстро, жадно затягиваться и громко охать при каждом выдохе. Рюрик опять ушел в себя, в свою песню. Он покачивался, урчал басом и напоминал огромного, облезлого, задумчивого котяру.

– Ох, грехи наши тяжкие, ох, не могу, – простонала Симка, – год-то какой жуткий, если цифры перевернуть вверх ногами, знаете, что получится? Три шестерки, знак нечистого. Вот это он и был, собственной поганой персоной!

– Кто? – хором спросили участковый и Бородин.

– Огненный зверь, – прошептала Симка.

– Слушай, ты издеваешься, да? – вкрадчиво поинтересовался участковый.

Бородин молча отбил пальцами дробь по столу.

– Я, как увидела его, сразу поняла, он за невинной душой пришел. Женщина из сороковой квартиры, добрая такая, тихая, вот, туфли мне свои отдала, – Сима вытянула ногу и повертела носком вполне приличной кожаной туфли светло-коричневого цвета, – а когда я на лестнице ночевала, она мне одеялко вынесла, и чайком угощала, и хлебушком с маслом, и колбаской. Вот какая хорошая женщина, самая добрая во всем подъезде, самая сострадательная. Для него, уroda, сострадательный человек хуже ладана.

– Сима, ты ведь тоже добрая, и душа у тебя чистая, – задумчиво произнес Илья Никитич и поймал удивленный взгляд участкового, – ты с бродячими животными последним куском делишься и мухи не обидела за всю жизнь, верно?

– Верно, ой как верно, гражданин начальник. – Сима потупилась и громко всхлипнула. – Я добрая, я очень хорошая, только никто не ценит, не понимает мою чистую душу.

– Зато он, огненный зверь, отлично чувствует твою чистую душу, и следующей его жертвой будешь ты, Сима. – Голос Ильи Никитича звучал глухо, жутковато, он придвинулся поближе к Симе, глядел ей прямо в глаза и говорил, стараясь не дышать носом: – Ведь он видел тебя? Видел так же ясно, как ты его?

– Да! – прошептала Сима. – Он меня видел! Он за мной придет!

– Придет, – кивнул Бородин, – если мы его не поймаем, обязательно придет. Ну, как он выглядел?

– Рожа вся черная, глаза красные, во рту клыки, – выкрикнула Сима и качнулась на стуле, – ой, не могу, боюсь!

– А чтобы не бояться, помоги нам, Сима, спасти твою жизнь, расскажи все по порядку. Где ты его увидела?

– Во дворе, на лавочке. Он сундучок потрошил. Я за посудой вышла, как всегда, смотрю, сидит. Сзади вроде нормальный, в майке, а как подошла ближе, поглядела сбоку, так и застыла.

– Когда это было?

– Ночью.

– В котором часу?

– Ну, как? В полночь, конечно! У меня часов наручных не имеется, но я определенно знаю, он, поганец, всю дорогу является ровно в полночь.

– Дура, ну дура баба, – внезапно ожил Рюрик, – шлялась где-то, пила без меня, потом пришла и давай вопить, мол, черта во дворе видела с черной мордой и красными глазами. Я грю, тебя, Сима, загнуло, в натуре, а она мне: не веришь, пойдем, покажу, он там, на лавочке, рукодельный сундук потрошит с нитками, ржет и матюкается. Я грю, дура, зачем черту нитки? А она отвечает: раз взял, значит, надо ему. Ищет что-то в клубочках. Нашел ли нет, не знаю, пойдем, грит, глянем. Я грю, тебе надо, ты иди, а я спать хочу. Короче, это, пристала ко мне, пойдем да пойдем, грит, одной страшно. Только мы собрались, слышим, во дворе шум, голоса. Окошко прямо на третий подъезд выходит, ну и вот, глянул я в окошко, вижу, машина милицейская, ну и все, как положено, в общем, вы сами знаете. Я грю, надо, Сима, погодить, когда менты уедут.

Рюрика прорвало. Видно, он долго, трудно переваривал впечатления прошедшей ночи в своей хмельной башке и наконец, переварив, почувствовал острую нужду поделиться ими с кем-нибудь, хотя бы со следователем и участковым. Сима пыталась пару раз перебить его, но он резко обрывал ее: молчи, дура! Она послушно замолкала, а он продолжал:

– Ну, стали мы ждать, глядим в окошко, а тут как раз труповозка подъехала. Как положено, санитары, менты, и, короче, это, выносят из подъезда труп. Симка, дура, чуть не завопила, хорошо, я ей пасть успел зажать. Пока то да се, уехали, стало совсем светло, я спать хочу, не могу, а она все волокет меня, грит, точно видела, там черт сидел, и это, значит, он человека порешил. Я, грит, даже знаю кого. В третьем подъезде, в сороковой квартире, женщина на кукольной фабрике работала, тихая такая, хорошая женщина, Лилей зовут. Ну и вот, пришли мы, короче, к помойке, а там ниток этих раскидано хрен знает сколько. Симка давай все собирать, сматывать, ну а потом вы, гражданин начальник, подошли.

– Сима, как ты поняла, что убили женщину по имени Лилия из сороковой квартиры? – склонившись к Симе, ласково спросил Илья Никитич.

– По ниточкам, – всхлипнула бомжиха, – по сундучку. Ее это рукоделье.

– Ты что, раньше видела?

– Ага, видела. Она меня зимой два раза помыться пустила, жидкость от вшей подарила, во какая женщина хорошая. Так у ней этот сундучок на столе стоял.

– И ты прямо так его запомнила?

– Ага, запомнила. Очень уж он красивый, старинный. У моей бабушки такой был, тоже нитки всякие хранила, вязать любила.

– Умница, – кивнул Илья Никитич, – а теперь все-таки попробуй вспомнить, как выглядел человек, который потрошил этот красивый сундучок?

– Да не человек он! – завопила Сима так громко, что Рюрик подскочил на стуле, а у Бородин заложило уши. – Сколько вам объяснять? Не человек! Рожа черная, глазищи огромные, красные, нос над губой болтается, и рожки, самые натуральные, понимаете вы или нет?! Он ведь прямо как глянул на меня, я чуть не померла со страха, креститься стала, а он заржал и послал меня матерно. Ясно вам?

– Погоди, – кашлянул Илья Никитич, – как же ты его разглядела в темноте?

– Так он под фонарем сидел, да и ночи светлые.

– Значит, лицо черное, глаза красные, на голове рога, – подытожил Бородин, – а волосы?

– Нет у него волос. Лысый он, и голова вся черная, блестящая, и рожки торчат, маленькие такие, красенькие.

– Как тебе показалось, он худой или толстый?

– Плечи широкие, но не толстый.

– Он при тебе со скамейки не вставал?

– Нет.

– То есть какого он роста, ты не видела?

– Да он любого может быть роста, какого захочет, такого и роста, хошь, как мышка, хошь, больше слона.

– Ты говоришь, он послал тебя матерно. Какой у него был голос?

– Визгливый, противный.

– Визгливый? То есть высокий? Может, вообще женский?

– Да хрен его знает, – махнула рукой Сима, – какая разница? Он может любым голосом разговаривать. Хошь, басом, хошь, тенором или вообще высокой сопраной. На меня он завизжал, как свинья.

– Ну да, понятно, – кивнул Илья Никитич, – а сзади, говоришь, он выглядел нор мальню?

– Нормально. Майка синяя.

Илья Никитич тут же, совсем некстати, вспомнил, что у Люси была футболка синего цвета, и грустно спросил:

– А как же рога? Разве их не видно было сзади?

– Да чего там, видно не видно? Ну, вот представь, ты себе идешь тихо-мирно к контейнеру за посудой, как нормальный человек, в натуре, ну сидит парень какой-то на лавочке. Ты что, будешь его рога разглядывать? Я подумала, это кепка у него такая.

– То есть на нем был головной убор с маской, – устало вздохнул Илья Никитич и взглянул на участкового, – знаете, есть такие специальные магазины, там продаются маски-страшилки. Вот наш убийца и напялил на себя маску черта с рожками. Шутник.

– Не верите? – взвизгнула Сима. – Думаете, он мне спяну померещился? Нет, – она замотала головой, – пришли последние времена. Он будет еще убивать, без разбору, всех подряд, праведников и грешников, вы хоть всю ментуру на уши поставите, ни фига вы его не поймаете.

Глава третья

Близняшки вышли из особняка, в котором находилась редакция журнала «Блюм», и направились к Старому Арбату. У них было три часа до встречи с фотографом Кисой и десять рублей на двоих. Это два пирожка с капустой либо две порции мороженого. Они приехали в Москву из Лобни семичасовой электричкой, встали очень рано и не успели позавтракать, а Солодкин не предложил им даже кофе.

Весной им исполнилось семнадцать. Теперь у них появилась возможность раз в неделю ездить в Москву и завелось немного денег на карманные расходы. Им нравилось шляться по городу. Они, выросшие в подмосковных специнтернатах и детских домах, за бетонными заборами, пьянели от запаха бензина и горячего асфальта, от блеска, шума, от пестрой уличной жизни, от шикарных магазинов, ресторанов, лимузинов, от мужских взглядов, от собственных отражений в зеркальных витринах.

На них оглядывались даже дети и старики. Возле них тормозили иномарки. Их ноги, плечи, спины отливали медовым загаром, их длинные белокурые волосы развевались и сверкали на солнце. Обе высоченные, сто восемьдесят плюс десять сантиметров «платформы», обе тонкие, как афганские борзые, и совершенно одинаковые во всем, кроме возраста. Одна старше на полчаса, и точно не известно, какая именно.

Денег у них было страшно мало, они постоянно, напряженно думали о деньгах, разглядывали наряды в витринах эксклюзивных магазинов, и от этого их голубые глаза делались еще прозрачней и ярче, а щеки наливались нежным румянцем. Им приходилось постоянно одергивать друг друга. Слишком многое было запрещено уставом семейного детского дома «Очаг», в котором им довелось провести последние семь лет. Они не имели права вступать в разговоры с незнакомыми людьми, привлекать к себе внимание, заходить в дорогие магазины, покупать сигареты и спиртное. С семнадцати им разрешили курить, но сигареты выдавали в «Очаге», пачку «Честерфильда» на двоих на три дня.

– Надо было у Солодкина хотя бы сигарет стрельнуть, – вздохнула Ира, доставая из сумочки пачку, в которой осталось всего две штуки.

– Да, надо было, – рассеянно кивнула Света. Она шурилась, тонкие ноздри трепетали. Перед сестричками был Старый Арбат, и от голода кружилась голова. Запахи сводили с ума. Пахло шашлыком, жареными цыплятами, теплой сдобой, в открытых уличных кафе играла музыка. Девочки остановились, наблюдая сквозь решетку, увитую плющом, как накрывают столы в дорогом уютном гриль-баре. Взлетали белоснежные крахмальные скатерти, неспешно проплывали лощеные официанты в бабочках, у входа красовалась яркая вывеска, рекламирующая бизнес-ленч всего за шестьсот пятьдесят рублей.

– Давай хоть мороженого купим, – простонала Света, взглянув на заострившийся бледный профиль сестры.

– Не хочу, – помотала головой Ира, – не желаю я жрать это поганое мороженое. Хочу бизнес-ленч, на белой скатерти, и чтобы такой вот гладкий холуй обслуживал.

– На бизнес-ленч надо заработать, – уныло усмехнулась Света.

– Ага, вон ту обменку грабануть. У тебя случайно в сумочке пушка не завалилась? О-ой, как жрать хочется, сил нет! – Ира закатила глаза. Она умела делать это очень страшно, в глазницах были видны только белки. Света тоже умела, но никогда не делала.

Много лет назад старенькая санитарка в детдоме сказала, что если кто-нибудь напугает в этот момент, то глаза останутся белыми и слепыми на всю жизнь. Света пыталась отучить сестру от идиотской привычки, но Ира не поддавалась воспитанию, ей нравилось делать то, чего нельзя, пусть даже самой себе во вред. Она стояла перед сестрой, изредка моргая, показывая перламутровые белки в тончайшей нежно-розовой сосудистой паутинке. Она все время

кого-то играла, могла спародировать любого человека, зло, смешно и очень похоже. Сейчас она не просто гримасничала. Она готовилась стать живой карикатурой.

Оглянувшись, Света заметила беременную слепую нищенку. Молодая женщина стояла в двух шагах от них, у входа в гриль-бар. Глаза ее были затянуты мутными, как медузы, бельмами. На ней был мужской пиджак в клеточку, под пиджаком короткий, выше колен, ситцевый сарафан в цветочек. Он туго обтягивал огромный овальный живот с пупочной ямой посередине. Казалось, тонкие искривленные ноги в голубых варикозных буграх едва удерживают вес живота, в котором вполне могла уместиться двойня. Нищенка водила руками по воздуху, гнусаво бормотала:

– Люди добрые, помогите, чем можете...

Света перевела взгляд на сестру и увидела то, что ожидала увидеть. Белые глаза, оттянутые вниз уголки рта, выпяченный живот, руки, ощупывающие теплый воздух, ноги, чуть согнутые в коленях, имитирующие уродливую кривизну.

– Люди добрые, помогите... – жалобно заголосила Ирина, в точности копируя тягучую гнусавость нищенки, – рожаю, помогите! Ой, щас как рожу прям здесь, в натуре, сразу двоих, ох, не могу, помогите, хочу косуху зелеными, только косуха спасет молодую мать!

– Прекрати! – рявкнула Света. – Прекрати сейчас же, на нас смотрят!

На них действительно смотрели торговки матрешками и павловскими платками, уличные музыканты, художники, скупщики золота. Арбатская публика по достоинству оценила маленький спектакль. Ира, чувствуя зрительское внимание, разыгралась еще вдохновенней:

– Дайте, дайте тысячу долларов моим голодным малюткам! Люди вы или звери? Пожалуйста, ради Бога, тысячу баксов!

Получалось смешно и страшно. Первой засмеялась торговка, вслед за ней музыканты и художники. Только скупщик золота глазел на представление с каменным лицом. Несколько прохожих остановилось, потихоньку собиралась небольшая толпа. А натуральная нищенка между тем гнусавить перестала, быстрым движением вполне зрячего человека достала из кармана пиджака темные очки, звякнула мешком с мелочью и рванула к ближайшему переулку.

– Я была чистой девочкой, свежей, как роза! Он, гад паршивый, отнял у меня мою святую чистоту! Я могу назвать его имя, все знают его имя, но тогда он наймет киллеров! Он занимает высокий пост и боится разоблачений! Люди, спасите моих детей! Я слепая от рождения, но его, гада, определила на ощупь. Люди, дайте мне тысячу баксов, ну пожалуйста, умоляю вас! Моим деткам нужны витамины, белки, жиры, углеводы, иначе они родятся маленькими злыми дебилятами, а когда вырастут, будут угрозой для общества, для ваших детей! Помогите своим детям, господа, дайте бедной беременной девушке тысячу баксов. Всего одну косушку зеленую, ну разве для вас это деньги?

Света поразились, откуда у ее худенькой сестренки взялось такое выпуклое пузо. Публики собиралось все больше, и кто-то уже лез в карман. Не было под рукой шапки, чтобы положить под ноги. Вполне возможно, Ире за ее концерт насыпали бы рублей тридцать, а то и больше.

Между тем сквозь толпу прорвался маленький дедок в холщовой кепке. Сморщенная лапка с траурными когтями крепко вцепилась в белое платье Иры. А из переулка, в котором исчезла убогая героиня Ириной блестящей импровизации, не спеша выплыли два молодых мрачных амбала в шортах и боксерских майках. За ними, животом вперед, семенила беременная в темных очках. У входа в гриль-бар маячила мощная фигура охранника.

– Милиция! Уберите мерзавку! Над нищей женщиной издевается! Над горем человеческим глумится! Арестуйте ее! – орал дедок в кепке, брызгая слюной.

– Ирка, дура, линияем, быстро! – Света схватила сестру за локоть и потянула так сильно, что обе едва удержались на ногах.

Справа наступали амбалы, покровители нищенки, слева показалась пара милиционеров. Девочки кинулись в толпу, Ира, продолжая изображать слепую, упала на зазевавшегося прохожего. Это был пожилой иностранец, он вежливо поддержал Иру, она обняла его и зашептала:

– О, дарлинг! Сенкью! Ай лав ю!

У Светы пересохло во рту. Ее сестренка, вместо того чтобы убежать, чуть ли не целовалась с обалдевшим иностранцем, и дело могло закончиться отделением милиции. За что, не важно. Все знают, что на Арбате куплен каждый квадратный сантиметр. Не только торговцы, скупщики, художники, но и нищие платят милиции, имеют свою бандитскую крышу. Невинный Иркин спектакль может обернуться неприятностями. За кого бы ее ни приняли, за натуральную нищенку или за артистку легкого жанра, она в любом случае кому-нибудь здесь конкурент. А конкурентов не щадят.

– С ума сошла! – Света оттащила сестру от иностранца. Милиционеры почему-то сначала решили проверить документы у дедка в кепке. Наверное, потому, что он продолжал орать и материться на весь Арбат.

Сестричкам хватило минуты, чтобы нырнуть в переулок. Бегали они на своих мягких пружинистых платформах чрезвычайно быстро, петляли по переулкам и проходным дворам, уже через пять минут оказались на Гоголевском бульваре и окончательно скрылись в метро. Они даже не успели понять, гнался ли кто-нибудь за ними. Доехали до Чистых прудов, вышли, уселись на лавочку на бульваре, закурили.

– Ты соображаешь, что творишь? – тихо спросила Света.

– А что я творю? – Ира пожала плечиком и засмеялась. – Классный получился спектакль. Всем было весело.

– Ага, вот замели бы нас в ментовку или просто избиили. Было бы очень весело.

– За что? – Ира округлила глаза. – За что, дяденька? Мы хорошо себя вели, никого не трогали. – Она опять играла, канючила тоненьким жалобным голоском. Свете захотелось ее ударить.

– Слушай, Ирка, в последний раз предупреждаю, если ты не прекратишь свои штучки, я... – Она понятия не имела, что сделает, и от этого завелась еще больше: – Ну какого хрена ты все время выдрючиваешься? Ты понимаешь, чем это может кончиться? Рано или поздно наши узнают, что ты творишь, и в город нас больше не выпустят. Нельзя привлекать к себе внимание, нельзя, Ирка, быть кретинкой, если тебе на себя плевать, обо мне подумай.

– Терпеть не могу, когда ты так со мной разговариваешь.

– Как хочу, так и разговариваю. Я старшая.

– Подумаешь! – Ира закатила глаза и презрительно фыркнула. – Старше всего-то на полчаса. Между прочим, наша драгоценная мамочка могла сто раз перепутать. Теперь уж не спросишь. Ладно, пошли. Жрать хочу, умираю.

– Она могла, а я нет, – выпалила Света, вскакивая со скамейки, – все помню, как сейчас. Мы с тобой долго в проходе толкались, спорили, чуть не задохнулись. Но ты все же уступила.

– Ага, конечно! Просто ты мне врезала ногой в пузо, и вперед, с песней. Думаешь, я не помню? Век не забуду!

– Что ты можешь помнить? Что? Ты не дышала, когда родилась, тебя еле откачали!

– Правильно. Все потому, что у меня сестра эгоистка! Ты меня объедала, ты была тяжелей на целых двести грамм!

Света присвистнула и покрутила пальцем у виска. Ира сделала то же самое, и обе тихо рассмеялись. К ним тут же подскочили сразу четверо молодых людей и попытались вежливо выяснить, что их так насмешило, свободны ли они сегодня вечером и не хотят ли отправиться прямо сейчас на пляж в Серебряный Бор.

– Нет, мальчики, нет, – заливаясь смехом, Ирина помотала головой, и сестры ускорили шаг. Мальчики отстали.

– Кончай ржать, – отрезала Света, и лицо ее моментально стало серьезным, – приведи себя в порядок. И учти: еще раз сорвешься, завтра останешься дома.

– Да че ты, в на-атуре, Свет, прям ваще, деловая! Скинь понты, сеструха, – прогнусавила Ирина, смешно копируя провинциальный прибалтийский говор, – смотри, какой классный кабак, ох щас покушаем!

Они остановились у стеклянной двери маленького, явно дорогого кафе. Света не успела опомниться, а ее сестренка уже взялась за дверную ручку. Звякнул колокольчик, они оказались в полутемном зеркальном вестибюле, к ним навстречу вышла холеная пожилая дама в белой блузке и черной юбке.

– Добрый день, вы пообедать или просто кофейку? – Дама улыбалась им, как родным. У Светы скулы свело от тоски. Она уже не сомневалась, что Ира окончательно сошла с ума.

– Нет, мы... простите... – пробормотала она, вцепившись в руку сестры и пытаясь вытянуть ее из этого дорожущего заведения.

– Мы бы хотели пообедать, – скромно сообщила Ира и незаметно, но больно пихнула сестру локтем в бок.

– О господи! – простонала Света, когда они оказались за столиком. – Ты что, надеешься смотаться отсюда прежде, чем принесут счет? О чем ты вообще думаешь?

– Я буду цыпленка-табака. А ты? – Ира оторвалась от меню и вопросительно взглянула на сестру. – Может, возьмем красной икорки на закуску? Хотя нет. Лучше черной.

– Хватит надо мной издеваться, – медленно произнесла Света, чувствуя, как лицо ее наливается краской, – мы не сумеем отсюда уйти и окажемся в милиции. Оттуда позвонят в Лобню. Телефон они узнают по адресу, который написан в наших паспортах. Мама Зоя за нами приедет, заплатит, а потом сама знаешь, что будет. Ирка, мне страшно. Давай сейчас же встанем и уйдем, пока не поздно. Извинимся, скажем, что забыли дома деньги, и уйдем.

– А разве мы забыли дома деньги? – Ира помахала ресницами, залезла в свою сумку и вытащила плотную пачку сторублевков, перетянутую резинкой, хлопнула ею по ладошке, подмигнула и прошептала еле слышно: – Я ведь не даром целовалась со старым американским хреном. За все надо платить. Вот он и заплатил за мою нежность.

У Светы слегка закружилась голова. В пачке было не меньше пяти тысяч. Ира тут же спрятала деньги. К столику подошел официант с бабочкой и молча встал, приготовившись принять заказ.

– Та-ак, пожалуйста, на закусочку рыбное ассорти, салат из крабов, порцию черной икорки. Теперь горячее. Цыпленка-табака хорошие у вас?

Официант кивнул. Света смотрела на сестру с ужасом и с восторгом. Они впервые в жизни были в кафе, но Ирка вела себя так, словно каждый день обедала в таких вот уютных заведениях.

– Светуль, может, тебе тоже цыпленочка?

– Я хочу котлету по-киевски, – прошептала Света, судорожно сглотнув.

Когда ей было девять лет, в интернатской библиотеке она откопала кулинарную книгу, утащила и спрятала под матрасом. Иногда потихоньку листала, рассматривала цветные картинки, читала описания блюд, и почему-то больше всего ей хотелось попробовать именно котлету по-киевски, с бумажной розочкой, с растаявшим маслом внутри.

Закуски принесли почти сразу. Сестрички были такими голодными, что смели все в один момент, не успев почувствовать вкуса икры, семги и крабового салата. В ожидании горячего закурили, и Света спросила шепотом:

– А если бы он заметил?

– Когда нормального мужика обнимает такая красотка, он вряд ли заметит что-либо, кроме ее губ, глаз, сисек и прочих прелестей, – улыбнулась Ира, – в принципе я могла бы вытащить и бумажник. Он лежал во внутреннем кармане пиджака. Конечно, это было сложней,

но я могла бы. Однако я не такая дура. В бумажнике у него наверняка только кредитки, паспорт и фотографии любимого семейства. Иностранец без паспорта – это серьезно. А так, подумаешь, баксов двести вытянули из кармана штанов. Переживет. Может, даже и в ментуру не обратится.

– Почему ты выбрала именно его?

– Видела, как он доставал пачку денег, хотел купить платок или матрешку, но потом раздумал, убрал назад, в карман.

– Поклянись, что это в первый и в последний раз!

– Конечно, сестренка. Я знаю: брать чужое нехорошо.

Принесли горячее. Котлета по-киевски полностью оправдала надежды, все было как на картинке в старой кулинарной книге. Сестры ели не спеша, пробовали друг у друга, смаковали каждый кусочек. На десерт они заказали по фруктовому салату и по куску горячего яблочного пирога, потом выпили кофе, расплатились, вышли на улицу. Фотограф Киса жил неподалеку, до назначенного времени оставалось еще сорок минут. Они не спеша побрели по бульвару, и вдруг Ира остановилась, согнулась, схватилась за живот и жалобно застонала.

– Что с тобой? – испугалась Света.

Ира смеялась. На нее напал неодолимый смех, до слез, до икоты.

* * *

Судебный медик в своем заключении сообщал, что смерть Коломеец Лилии Анатольевны наступила в результате ножевого ранения в сердце. Правда, это ранение, как и все прочие, было нанесено не широким кухонным ножом, который валялся на полу рядом с трупом. У орудия убийства форма клинка напоминала самодельную заточку. Впрочем, эксперты не настаивали на этом, только предполагали. Возможно, убийца действовал ножом промышленного производства типа кортика с узким ромбовидным лезвием.

Никакого клофелина, никаких наркотиков, ядов, ничего, что могло бы обездвижить убийцу, лишить ее возможности сопротивляться и кричать, в организме не нашли. Вообще, Коломеец Лилия Анатольевна при жизни отличалась крепким здоровьем, не курила, не употребляла спиртного.

– В наше время редко попадают такие здоровые люди. Удивительно чистый организм, могла бы жить еще лет пятьдесят, – хмуро сообщил судебный медик Илье Никитичу. – Однако я не понял, что же вам не ясно?

Он собирался домой, очень устал, думал о том, что впереди два выходных, и стоит ли поехать на дачу сегодня или лучше провести вечер дома в одиночестве, повалиться на тахте перед телевизором с банкой холодного пива и пакетом соленого арахиса, а на дачу отправиться завтра с утра пораньше. Очень уж не хотелось после длинной муторной рабочей недели сразу, без передышки, попадать в свой семейный муравейник, на тесные шесть соток, где придется копать огород, что-то пилить, чинить и активно общаться с тещей. Он уже окончательно решил подарить себе тихий, спокойный вечер перед телевизором, когда увидел в коридоре у раздевалки следователя Бородина, маленького, толстенького, с седыми аккуратными бачками вдоль круглых щек, в светлых брюках и трикотажной рубашке в полосочку. Бородин держал в руках папку с документами и виновато улыбался.

– Простите, я понимаю, вы устали и собирались идти домой. Я не отниму у вас много времени. Вы вот здесь не указали, имелись ли еще какие-либо повреждения, кроме ножевых ранений.

– Правильно, не указал, – буркнул эксперт, – не было ничего, кроме ножевых. Я же вам только что объяснил, очень здоровая, крепкая женщина.

– Вы меня не поняли, – грустно покачал головой следователь, – я хочу выяснить одну простую вещь. Перед тем как бить ножом, ее могли как-то отключить?

– Там все написано! В крови ничего нет.

– Ничего нет, – вздохнул Бородин. – Значит, она умерла моментально?

– Ну а как еще умирают при ножевом ранении в сердце?

– Не знаю. Я не специалист. Специалист вы, Кирилл Павлович, именно поэтому я к вам и обращаюсь. Успела она закричать или нет? Это меня, знаете ли, очень беспокоит. – Бородин стоял напротив эксперта, мягко, виновато улыбался, и было ясно, что не отстанет, пока всю душу не вымотает. Пропадало драгоценное время, таял чудный одинокий вечер в пустой тихой квартире с холодным пивом и солеными орешками.

«Гвоздь в заднице, вот что тебя беспокоит, – подумал эксперт, – будь ты помоложе да понахальней, послал бы я тебя с большим удовольствием. Две вещи тебя спасают, старший следователь Бородин, возраст и вежливость».

– Кирилл Павлович, могла она кричать и сопротивляться или нет? – настойчиво повторил Бородин.

– Разумеется, могла, – буркнул эксперт, – человеку свойственно кричать и сопротивляться, когда его режут.

– Нет, я имею в виду, у нее было время, хотя бы несколько секунд, или она умерла моментально?

«Елки зеленые, – простонал про себя эксперт, – он отвяжется когда-нибудь?»

– Ну, было, и что? Что это меняет? – произнес он с вызовом. – Да, у нее была минута точно. А может, и больше. В принципе удар в сердце сам по себе не являлся смертельным, там задет только правый желудочек, но если учесть, сколько всего ножевых ранений, то картина абсолютно ясная. Все?

– Почти все, – смиренно кивнул Бородин. – Однако представьте эту абсолютно ясную картину, восемнадцать ножевых ранений. Жертва – здоровая молодая женщина, не пьяная, не под наркотиком, не парализованная. Может такое происходить в полной тишине? Могли ее убивать шепотом и на цыпочках?

– Как это? – Эксперт поморщился и тряхнул головой.

– Стены в доме очень тонкие, а соседи ничего не слышали, – объяснил Бородин с легким вздохом.

– Так, может, их дома не было?

– В том-то и дело, что были.

– Ну, не знаю, телевизор смотрели, радио слушали, спали, в конце концов. Ну чего вы от меня хотите? Я свое дело сделал, заключение написал, там все подробненько...

– Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели еще раз, не осталось ли на теле следов какого-нибудь предварительного оглушающего удара, по голове, например, или по шее.

– Ну давайте, давайте посмотрим, – сдался эксперт, – честное слово, не понимаю, зачем вам это.

Он курил у подоконника и матерился про себя, пока Бородин разглядывал голову и шею трупа. Он знал совершенно точно, что никаких внешних повреждений, кроме восемнадцати колотых ран, на теле не было и быть не могло. Он ведь тоже не вчера родился и на своем веку перевидал насильственных трупов сотни три, не меньше. Как правило, если человека режут, его перед этим не душат. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

– Кирилл Павлович, можно вас на минуту? – тихо позвал его Бородин. – Вот, взгляните сюда. Что это, как вы думаете?

Пухлый палец указывал на продолговатое темно-красное пятно на шее. Эксперт несколько секунд молчал, наконец тяжело вздохнул и произнес, покосившись на следователя:

– Ну, допустим, кровоподтек.

– Допустим или точно?

– Послушайте, я не понимаю, вы что, настаиваете на дополнительной экспертизе? – повысил голос Кирилл Павлович. – Тогда давайте оформлять все, как положено.

– Нет, на дополнительной экспертизе я не настаиваю, – замотал головой следователь и, помолчав, добавил задумчиво: – Пока не настаиваю. Сейчас мне просто нужна от вас небольшая консультация. Для меня не совсем ясна картина смерти.

– Женщину восемнадцать раз ударили ножом. Вам что, мало этого?!

– Мне достаточно, – Бородин одарил эксперта теплой лучезарной улыбкой, – я просто хочу выяснить, почему она не кричала и не сопротивлялась. Вот видите, мы с вами внимательно посмотрели и обнаружили кровоподтек. Такой след, если не ошибаюсь, мог остаться в результате удара тупым предметом, ребром ладони например. Здесь, – он ткнул пальцем в собственную розовую пухлую шею, – проходит сонная артерия. Впрочем, я не специалист. Специалист вы, Кирилл Павлович.

«Совсем сдвинутый, – подумал эксперт, – разве нормальный человек будет на себе показывать?»

– Да это вообще может быть родимое пятно, – буркнул он, – или вы думаете, ваша олигофренка на самом деле Жан-Клод Ван Дамм?

– Как, простите? Вам Дамм? Кто это? – Бородин подался вперед всем корпусом, склонил голову набок и стал похож на старого говорящего попугая. Эксперт не выдержал и рассмеялся. В пустом кафельном морге загудело эхо. Бородин удивленно подвигал бровями и быстро прошептал: – Ох, как заразительно смеетесь, Кирилл Павлович. Я понимаю, это нервное. Конечно, это у вас от усталости.

Судебный медик успокоился, откашлялся и тихо, доверительно спросил:

– Илья Никитич, простите, вы издеваетесь, да? Вы что, правда не знаете, кто такой Жан-Клод Ван Дамм?

– Какой-то известный спортсмен?

– Кинозвезда, герой самых крутых американских боевиков.

– Ну да, ну да, – рассеянно кивнул следователь, – то есть вы хотите сказать, что удар по сонной артерии был нанесен человеком, который владеет приемами карате?

– Да, причем владеет неплохо. В принципе такой удар относится к разряду смертельных. Каратист не мог не знать этого. Если надо было убить, одного такого удара хватило бы. Более того, было бы весьма сложно установить истинную причину смерти. Это профессионал тоже должен знать. Зачем понадобилось еще восемнадцать ножевых ранений?

– То есть вы не исключаете, что эти ранения нанесены посмертно?

– Точно установить нельзя, все происходило слишком быстро. Слушайте, а ведь она маньячка, эта ваша подозреваемая. Она вырубил тетушку, а потом стала ее резать, уже для собственного удовольствия. Кстати, нашли орудие убийства?

– Нет.

– Вот это класс! – присвистнул эксперт. – А что говорят психиатры про вашу подозреваемую? Может, она вообще никакая не олигофренка, просто устроила спектакль? Кончила тетушку, потом поняла, что не сумеет замести следы, и решила так красиво закосить?

– Спасибо, – кивнул Бородин, – хорошая версия. Нет, психиатры исключают симуляцию. Девочка действительно больна с рождения. Олигофрения в стадии дебильности. А приемами карате она не владеет. Девочка полная, рыхлая, вряд ли она вообще знает, что такое карате.

– Жаль, жаль, – покачал головой Кирилл Павлович, – похоже, дело может зависнуть и заглохнуть. А так все хорошо начиналось, по материалам все так ясно и гладко выходило. Теперь уж, понятно, придется искать убийцу-каратиста, Жан-Клода Ван Дамма. Или нет?

– Да, – кивнул Илья Никитич, – придется искать.

Глава четвертая

Олег Солодкин принял дозу, ему стало хорошо, и жестокие сомнения оставили его. Он продолжал глядеть в компьютерный экран, но уже не видел там никаких мух и личинок. На экране и в его просветленном мозгу порхали, приятно шурша крыльями, райские бабочки, крошечные птички колибри сверкали радужным оперением, нежные теплые ангелы шептали ему на ухо, что все замечательно.

«Ну зачем себя мучить? – весело думал Олег. – Да, я наркоман. Я сумасшедший. Иногда не отдаю себе отчета в собственных действиях и все забываю, забываю. Какой ужас! Однако ведь правда, все гении были сумасшедшими. Творчество требует огромного напряжения духа, для творца мир должен всегда оставаться загадочным и прекрасным. А это возможно только под кайфом. Байрон курил опий и страдал эпилепсией. Мопассан злоупотреблял морфием. Блок умер от кокаина. Эдгар По был доставлен в больницу для бедных в состоянии наркотического опьянения и умер там от кровоизлияния в мозг. Ему было сорок, как мне сейчас. В этом возрасте надо либо умереть, либо начать все с нуля».

Начать с нуля было, конечно, приятней. Он представлял, что за спиной у него не сорок лет реальной жизни, а полнометражный художественный фильм, гениальное кино, полное и свободное выражение его глубокого, неповторимого внутреннего мира.

Всякий раз после очередной «завязки», после ломок и депрессий, он, приняв дозу, возвращался к сладкой детской мечте о гениальном кино, которое поможет ему освободиться от прошлого и начать с нуля. Столько всего интересного роилось у него в голове, яркие, причудливые образы просились на бумагу, то есть на экран компьютера, а потом на киноэкран. Он закрывал глаза и видел череду выразительных картинок. Казалось, стоит прикоснуться к клавиатуре, и текст заветного киносценария польется плавно и легко, как джазовая импровизация.

Он изобразит себя в детстве, маленького толстого мальчика, закормленного жирными деликатесами, замученного французской спецшколой, музыкальной школой. Он наполнит действие пронзительным, как зубная боль, визгом ученической скрипочки. Мама хотела сделать из него великого музыканта, чтобы сообщать всем вокруг: «Мой сын – великий музыкант». Маленькая скрипка стала для него мистическим одушевленным существом. Когда он брал ее в руки, прижимал к челюсти, касался смычком тугих дрожащих струн, голова его наполнялась болью, а душа ненавистью. Это создание, полое внутри, гладкое, обтекаемое, лоснящееся маслянистым лаком снаружи, издавало в его руках омерзительные визги и скрипы. Олег подозревал, что ненависть взаимна. В руках учительницы музыки его скрипочка сладко пела и захлебывалась счастьем, как любящая собачонка при встрече с хозяином.

В музыкальной школе ему задавали огромные домашние задания, и даже в те дни, когда не надо было ходить на занятия, он должен был пилить на инструменте по несколько часов. Родители проводили целые дни на работе, но обложили его со всех сторон, как волчонка красными флажками. Они дарили подарки лифтершам, и за это получали исчерпывающую информацию, в котором часу он вернулся из школы, уходил ли куда-то еще, приходил ли кто-то к нему. Они дарили подарки всем его учителям и настоятельно просили держать мальчика в ежовых рукавицах, подробно докладывать, как он выполняет домашние задания, как ведет себя, с кем дружит.

Он не мог гонять мяч на спортплощадке, шляться в компании мальчишек по окрестным дворам и переулкам, залезать на таинственные вонючие чердаки и там, чувствуя себя взрослым, сильным, курить, пить портвейн, травить оглушительно похабные анекдоты. Он был толстым, неуклюжим, застенчивым мальчиком со скрипочкой. А хотел быть поджарым, ловким пацаном, настоящим дворовым пацаном, которого все знают, уважают и боятся.

Лет в двенадцать он начал таскать у матери сигареты, но курить в одиночестве на балконе было неинтересно. Тошнило, кружилась голова, приходилось идти на сложные ухищрения, чтобы родители не заметили, и трястись от страха, что все-таки заметят. В родительской спальне, перед зеркалом, он пытался выработать особенную, вкрадчиво-расхлябанную блаженную походочку. Приспускал штаны, подволакивал ноги. Корчил рожи, копируя надменно-томную гримасу, с которой матерились и сплевывали сквозь зубы его ровесники, дворовые боги. Глотал лед, чтобы голос стал хриплым. Глядя в глаза своему растерянному отражению, произносил витиеватые матерные тирады. Шариковой ручкой рисовал на груди кресты и черепа. Тер наждаком костяшки пальцев, имитируя последствия удачного удара кому-то в зубы.

Огромное, трехстворчатое зеркало было немым свидетелем отчаянных одиноких представлений. Толстый мальчик часами выделялся перед ним, вместо того чтобы общаться со скрипкой. Зеркало видело и те позорные минуты, когда стрелки часов подползали к восьми и мальчик метался в панике, стирая плевки со светлого паласа, пасту шариковой ручки со своего тела, прижигая одеколоном стертые до крови костяшки, хватался за скрипку, которая валялась тут же, на родительской кровати, и, суматошно водя смычком по струнам, уносился к себе в комнату. Мать всегда возвращалась к восьми. У нее был удивительно чуткий слух, она еще на лестничной площадке улавливала голос скрипки, и если слышала, что мальчик занимается, входила в квартиру с улыбкой, весь вечер оставалась ласковой и какой-то даже трепетной по отношению к сыну.

Всякий раз, когда приходили гости, мать, дождавшись подходящего момента, произносила небрежно, как бы между прочим:

– Олежик, ты нам сыграешь?

Он ненавидел себя за то, что не мог сказать: «Нет, мама». Он скромно опускал глаза, кивал, доставал из футляра проклятую скользкую деревяшку и с пылающими ушами, с мокрыми подмышками выходил на середину гостиной. Гости почтительно затихали. На лицах читалось умильное внимание. Даже те нестерпимые звуки, которые издавало маленькое чудовище в его потных руках, не сдували со взрослых лиц серьезного выражения. Они покорно слушали, терпели, потом хлопали в ладоши и одобритительно кивали: «Да, очень музыкальный мальчик».

В седьмом классе он сжег скрипку. Это была тонкая, заранее продуманная операция. В кладовке нашел бутылку с керосином, замотал горлышко с ненадежной пробкой полиэтиленовым мешком, затянул аптечной резинкой, потом еще завернул в газету. Главное, чтобы из его сумки впоследствии не воняло керосином. У матери был великолепный нюх.

Вместе с керосином он положил в сумку пластмассовую пионерскую флягу, до половины заполненную ликером «Шерри», горсть своих любимых шоколадных конфет «Стратосфера», сигареты, спички. Музыкальная школа находилась в трех троллейбусных остановках. Он ехал и бормотал себе под нос песню «Битлз». Он уже был счастлив, хотя ничего еще не произошло. На занятиях он играл вдохновенно и точно, как никогда прежде, и учительница ничего не понимала, даже спросила: почему же раньше у него так не получалось?

Домой он отправился пешком. Шел мелкий дождь, вечер был тихий, теплый. Свернув в пустой переулок, Олег перелез через забор и оказался на заброшенной стройке.

На бетонную плиту он поставил флягу, рядом положил конфеты и сигареты, раскрыл футляр и наполнил нутро скрипки керосином. Прежде чем кинуть спичку, прикурил от нее.

Несколько минут он завороченно глядел на пламя, которое просто, красиво и деловито пожирало его деревянного врага. Ничего прекраснее этого огня он в своей жизни не видел. Взял дрожащей рукой флягу, стал медленно, маленькими глотками пить сладкий ликер прямо из горлышка, закусил конфеткой. Мир, до этого тусклый, черно-белый, несправедливый и скучный, осветился волшебным огнем, наполнился яркими живыми красками. Больше не будет никакой скрипки, он скинет вес, начнет качать мышцы, выйдет во двор и наконец станет

таким, каким хотел быть всегда. Сильным, грубым, прибалтненным, с тяжелыми кулаками и легкой башкой.

Домой он явился к половине девятого. Мать, увидев его, побледнела. Куртка была порвана, измазана кровью и известкой. Кровь адела на лице и на руках. Он протянул матери обугленную крышку от скрипичного футляра.

– Только не волнуйся, – произнес он отрывисто, с придыханием, – их было десять человек. Они затащили меня на стройку, держали за руки, за ноги и жгли скрипку. Они не из нашего двора. Я никогда их раньше не видел. Настоящие блатари, варвары.

Мать ринулась звонить в милицию. Он был готов к этому и не боялся. Он знал, что из-за какой-то там скрипочки никто не станет всерьез суетиться, и оказался прав. Позднее, когда родители хотели купить ему новую скрипку, он пускал скупую подростковую слезу, задыхался и шептал: «Не надо... я прошу вас, не надо... я не смогу больше играть, я не смогу взять ее в руки, мне все время будет мерещиться огонь и эти жуткие рожи, и как они меня держали, заставляли смотреть...»

Ему так понравилась история про мальчика со скрипкой, что он решил записать ее. Получился маленький рассказ. Он изобразил неуклюжего вундеркинда, живущего одной лишь музыкой и далекого от грубой реальности. Он живописал главаря банды, сцену слезки, сцену избияния юного музыканта и варварский ритуал казни прекрасного инструмента. «Смотри, смотри, гад!» – хрипло приговаривал главарь и бил связанного вундеркинда ногой в живот. Отсветы пламени озаряли зверские лица. А скрипка, пылая, вдруг стала издавать изумительную мелодию, аллегро из Четвертой симфонии Мендельсона.

Отец попросил свою секретаршу перепечатать рассказ на машинке в нескольких экземплярах. Шедевр был показан знакомому члену Союза писателей, довольно известному партийному романисту. Тот одобрительно хмыкнул. С тех пор мать, как бы между прочим, сообщила всем знакомым, что у ее сына открылся огромный литературный дар. Однако, когда она однажды обратилась к нему при гостях: «Олег, ты нам считаешь?», он, скромно опустив глаза, сказал, что написанное слишком сыро и вообще он сейчас взялся сочинять киносценарий.

Он действительно увлекся сочинением некоего бесконечного сюжета. Собственно, сюжетом это нельзя было назвать, скорее он просто вел дневник, но описывал себя самого и окружающих не с натуры, а так, как ему хотелось.

Ему хотелось стать худым, мускулистым, прибалтненным, и он выдумал такого героя. Ему хотелось, чтобы все девочки в классе сходили по нему с ума, и на страницах общей тетради они действительно дружно помешались на Олеге Солодкине. Теперь у него не было нужды устраивать жалкие одинокие представления в родительской спальне перед зеркалом. Все его затаенные желания воплощались на бумаге.

Родители купили ему легкую симпатичную пишущую машинку «Унис». Вместо прежней домработницы Светланы, которая приходила раз в неделю для генеральной уборки, наняли еже дневную Раису. Благополучие семьи росло, отец получил новую должность в своем главке и стал зарабатывать еще больше. Мать служила в Министерстве культуры, заведовала отделом международных связей, то есть решала, кому из деятелей культуры можно отправиться за рубеж, а кому следует погодить. Влияние Галины Семеновны Солодкиной было огромно, она привыкла властвовать и милостиво принимала дружбу самых популярных людей страны. С ней все хотели дружить, в доме собирались сливки советского кино и театра.

Сразу после школы Олег Солодкин поступил в Институт кинематографии на сценарное отделение. Теперь героинями его бессюжетных произведений стали самые красивые девочки, будущие кинозвезды. На машинописных страницах они обрывали герою телефон, мерзли у его подъезда, выстраивались в очередь, чтобы отжаться ему. Он снисходил, дарил им свои грубые мужественные объятия. Машинка стучала, осыпая невинные белые листы подробными описаниями разнообразных грудей, животов и ягодиц. Он печатал так ожесточенно, так страстно, что

у нежной машинки стали потихоньку выпадать клавиши. Белая клавиатура на фоне красного пластмассового корпуса напоминала щербатый, окровавленный рот избитой до полусмерти красавицы. Печатать стало невозможно.

– Ну, беда невелика, – сказала мама.

На следующий день на письменном столе Олега поблескивала лаковыми боками новенькая электрическая «Эрика» последней модели.

Но на самом деле беда была велика, огромна и заключалась вовсе не в пишущей машинке. В свои восемнадцать лет Олег оставался девственником. Это было невыносимо, отвратительно, стыдно. Он ненавидел свою девственность, как когда-то скрипку. Он не мог запалить для нее ритуальный костер на стройке и не знал, что с ней, злодейкой, делать. Он собирал в своей огромной квартире вечеринки, к нему охотно приходили сокурсники и сокурсницы, среди них были самые красивые девочки, но как-то получалось, что после общего застолья и танцев при погашенном свете все разбредались по комнатам, а он оставался один и не понимал почему. Наступало серое утро, наполненное вонью окурков и грязной посудой. Приходила Раиса, молча соскребала с кресел и ковров остатки салата «оливье». Олег закрывался в своей комнате, курил до тошноты и писал о грудях и ягодицах. Он грубо, с невозможными садистскими подробностями насиловал на бумаге каждую из тех, кто был у него в гостях, но не мог утешиться.

В ноябре второкурсников отправили в подмосковный колхоз на картошку. Там, в нетопленных бараках пионерского лагеря, пили портвейн и крутили быстрые страстные романы. И там наконец свершилось.

Ее звали Лена, она была с актерского, впереди ее ждали только характерные роли. Большая, рыхлая, с вечно грязной головой, с «беломориной» в уголке тонкого рта, с мятым сонным лицом и огромной бесформенной грудью, никогда не запакованной в лифчик. Во время очередных портвейно-гитарных посиделок она молча, деловито взяла его за руку и поволокла в пустую соседнюю палату. Он онемел от неожиданности, не сразу понял, чего ей надо, и подумал, что сейчас она начнет просить у него одеколон. Запасы портвейна неумолимо иссякали, деревенский магазин был далеко и открывался только утром. А у Олега имелось две поллитровые бутылки польского мужского одеколona, которым снабдила его мама, предвидя гигиенические проблемы.

Лена ни слова не сказала про одеколон. Она вообще не сказала ни слова. Все происходило в полнейшей тишине, если не считать пьяного пения под гитару за стенкой, и только чуть позже долгожданная церемония озвучилась хриплым шепотом и тяжелыми, сдавленными стонами.

От Лены пахло потом, табаком и перегаром. Она раздела его проворно, как опытная сиделка парализованного больного. Тело его покрылось мурашками, температура в пионерских палатах не превышала плюс десяти градусов. Простыни были влажными. Он не сразу понял, что сейчас, сию минуту, с ним происходит именно то, о чем он давно и отчаянно мечтал, то, что он так подробно, так страстно описывал на бумаге. Правда, в главной роли выступал не он, а его партнерша. Она брала его, почти насиловала, грубо, властно, умело. У нее был богатый опыт, она хриплым отрывистым шепотом командовала, что ему делать, как повернуться, как двигаться. Он подчинялся. От нее исходил огненный, животный жар. Казалось, влажная простыня тихонько задымилась под ними. Корчилась и погибала в веселом огне проклятая девственность Олега Солодкина, как когда-то сгорала на стройке его маленькая невинная скрипочка.

Конечно, ему хотелось, чтобы все произошло совсем иначе. Была одна, заветная девочка Маша, которую он ни разу не окунул в поток своих литературных откровений, на которую решался лишь иногда искоса поглядывать на лекциях. Она училась вместе с ним на сценарном. Тоненькие ножки и ручки, маленькое скуластое личико, большой, мягкий бледный рот, яркие голубые глаза, светло-каштановые прямые волосы. Все. Ничего особенного, на актерском имелся огромный выбор красоток. Но когда он исподтишка подглядывал за Машей на

лекциях, в курилке, в столовой, у него непонятно почему замирало сердце. Один раз он решился пригласить ее к себе на вечеринку. Она вежливо, равнодушно отказалась.

Толстая Лена в самый ответственный момент материлась протяжным басом. За стеной устали петь, болтали и смеялись. В хоре голосов Олег различил Машин смех, закрыл глаза и попытался мысленно поменять этих двух женщин местами: Лену убрать в соседнее помещение, а сюда, к себе, на скрипучую пионерскую койку, поместить хрупкую легкую Машу. Однако не получилось. Слишком разные весовые категории. Маша продолжала смеяться за стенкой над чьим-то анекдотом. Она умудрилась опять отказать ему, вежливо и равнодушно. Но зато теперь у него под рукой всегда была Лена, большая, опытная и безотказная. Ему стал нравиться ее крепкий запах, тяжесть ее тела, матерщина, «Беломор». Он продолжал, потихоньку от самого себя, поглядывать на Машу и женился на Лене.

Потом многие годы этот проклятый худенький образ преследовал его, мелькал в толпе, дразнил случайным сходством, таял, оставляя жар в груди и мятный привкус во рту. Иногда он, закрывшись в комнате, просматривал старые институтские фотографии и с раздражением признавался себе, что делает это исключительно для того, чтобы освежить в памяти маленькое скуластое личико и светлые глаза в обрамлении угольно-черных ресниц.

Маша стала успешной сценаристкой. Он видел ее имя в титрах нескольких неплохих фильмов, встречал ее в Доме кино на премьерах, знал, что она вышла замуж, родила двоих детей, мальчика и девочку. Был в его записной книжке номер, по которому можно позвонить и услышать ее голос, иногда он звонил, но молчал в трубку.

С Леной он развелся довольно скоро, потом была череда разных женщин. Он знал про них только одно: они клюют на пятикомнатную квартиру, на высокопоставленную маму с папой. А сам по себе Олег Солодкин, некрасивый, неуспешный, безработный, никому не нужен.

После института он никак не мог найти свое место. Написал пару сценариев, что называется, на потребу. Ему казалось, это так просто – сочинить сюжет банальной мелодрамы для массового зрителя, однако получилась скучная белиберда, и он сам отлично понимал это. Иногда писал и публиковал критические статьи о чужих фильмах, какие-то бесформенные эссе, рассказы, но никто не замечал его жесткого, смелого, оригинального стиля, его искренности, его таланта. Он оставался сыном уважаемой Галины Семеновны Солодкиной, и не более.

Глава пятая

На игрушечной фабрике, где работала Лилия Коломеец, о ней отзывались сдержанно, уважительно, известие о ее смерти вызвало удивление, печальные вздохи, возгласы: «Да что вы говорите! Ужас какой!»

Капитан Иван Косицкий пил кофе, предложенный разговорчивой молоденькой секретаршей. Из всех сотрудников, с которыми он успел побеседовать, секретарша Наташа показалась ему самой осведомленной, и потому он минут двадцать терпеливо слушал подробный рассказ о том, почему у нас до сих пор не умеют делать хорошие игрушки, как для международной выставки реставрировали железную дорогу, принадлежавшую до семнадцатого года маленькому князю Трубецкому, и в паровозе нашли тайник, в котором был спрятан сапфир размером с голубиное яйцо, и как печально закончились все попытки создать российскую Барби.

– Мы, дураки, оплатили несколько рекламных сюжетов по телевидению, и нас обвинили в плагиате, компания «Мател» подала в суд. Получился чуть ли не международный скандал, представляете, нашей маленькой тихой фабричке был предъявлен иск на миллион долларов. Смешно. Однако пришел приказ из министерства, и нашу бедную куколку закрыли. Конечно, для Лили Коломеец это была просто беда. Она успела придумать целый гардероб, целый кукольный мир. Знаете, как-то странно говорить о высоком искусстве, когда речь идет о такой ерунде, как куклы. Но Лиля действительно была настоящим художником. – Секретарша тяжело вздохнула. – Нет, все равно не верится, что ее убили. Дикость какая-то. У нее столько было идей, планов, такого второго художника у нас на фабрике нет и не будет. Знаете, есть люди способные, даже талантливые, но ленивые, и толку от таланта никакого. А есть, наоборот, усидчивые, трудолюбивые, а вот с талантом худо. Вроде все хорошо, но чего-то не хватает. Вкальывает бедолага, старается, но радости это никому не приносит. У Лили было все. Редкое сочетание трудолюбия и таланта. Правда, я считаю, так нельзя. Она все-таки молодая, симпатичная... была... извините. – Наташа достала платочек и шумно высморкалась. – Нет, не могу представить ее мертвой. Она столько всего не успела, ни семьи, ни детей, работа и никакой личной жизни.

– Так уж совсем никакой? – покачал головой Косицкий.

– Ну, возможно, в юности что-то было... впрочем, точно я не знаю. Просто всем так казалось. Люди любят навешивать ярлыки. Она была очень замкнутым человеком, настолько замкнутым, что о ней даже не сплетничали. Ее перестали замечать. Поскольку она ни с кем не делилась подробностями своей личной жизни, решили, что таковой у нее просто нет. Только племянница, и больше никого на свете. В начале июня Лиля ушла в отпуск, сказала, что собирается поехать вместе с племянницей в Болгарию на десять дней. Да, кажется, еще в начале мая она брала две недели за свой счет, заболела подруга ее матери.

– Как зовут, не знаете?

– Юлия Сергеевна, кажется. Фамилию Лиля не называла, но это уже не важно. Старушка умерла. У нее оказался рак. После ее смерти Лиля изменилась, стала совсем мрачной, часто плакала. Конечно, не на людях, но всегда было видно по глазам.

– И все-таки кто-нибудь может знать фамилию этой женщины?

– Спросите в бухгалтерии, там должны остаться какие-то бумаги, копия свидетельства о смерти. Лиле выписали небольшую матпомощь на похороны.

– Обязательно спрошу, – кивнул Косицкий, – скажите, а племянница жила с ней?

– Нет. Лиля говорила, что девочка живет и учится в подмосковном лицее-интернате, но что за лицей-интернат, где он находится, никогда никому не рассказывала, если приставали с вопросами, всегда ловко уходила от ответа. Я пыталась несколько раз ее расспросить, у меня сыну четыре года, хочу заранее подыскать хорошую школу. Однажды, когда я ее буквально

приперла к стенке, она сказала, что лицей частный, закрытый, и сейчас туда принимают только с тринадцати и только особо одаренных детей, которые знают два языка, английский и французский. Интересно, откуда при нашей зарплате у нее деньги на частный лицей?

– Значит, племянницу никто никогда не видел? – уточнил Косицкий.

– Никто никогда, – покачала головой Наташа, – я как-то просила Лилу фотографию показать, она принесла. Очень хорошенькая девочка, на нее похожа. Пышные золотые кудри, ярко-голубые глазки, личико умное. Мы удивлялись, почему она никогда не брала билеты на елки, на детские спектакли. У нас среди сотрудников билеты распределяются бесплатно. Лиле всегда предлагали взять для племянницы, но она отказывалась.

«Наверное, это была ее собственная детская фотография, – грустно улыбнулся про себя Косицкий, – ну что ж, вполне понятно».

– А отчего погибла сестра, известно? – спросил он.

– Я знаю только, что это произошло десять лет назад. Я тогда здесь еще не работала. Говорили, несчастный случай. Господи, ну почему на хорошего человека сваливается столько несчастий? – Наташа опять заплакала, Косицкий предложил ей воды, она жадно выпила и попросила у него сигарету.

* * *

Каждый раз, когда ее трехмесячная дочь Машенька засыпала, Ксюша Солодкина первые несколько минут сидела не двигаясь, слушая тишину и внушая самой себе, что свободные полтора часа надо использовать разумно, то есть позаниматься химией, физикой, математикой, английским, почитать учебник анатомии или биологии. Но больше всего на свете ей хотелось поваляться на диване с каким-нибудь легким чтивом, поиграть в компьютерную игру, посмотреть телевизор или видик, поспать, наконец.

На даче вместе с ней и Олегом жила верная домработница Раиса. Уложив ребенка, Ксюше не надо было бросаться мыть посуду, готовить, стирать, убирать. От хозяйственных хлопот ее полностью освободили, она имела возможность заниматься, и если во время Машиного дневного сна валяла дурака, то чувствовала себя отвратительно, мучилась угрызениями совести.

После десятого класса Ксюша сдавала экзамены в Медицинскую академию, но недобрала баллов, а денег на платное обучение у ее родителей не было. Этим летом об экзаменах не могло быть речи. Она вышла замуж и родила Машеньку. Однако она твердо решила поступить в будущем году и дала себе страшную клятву, что день и ночь будет сидеть над учебниками. У нее для этого имелись все условия. Молчаливая, исполнительная Раиса, свежий воздух, большой тихий дом, а главное, Машенька была здоровым и достаточно спокойным ребенком, ночью просыпалась редко, днем спала дважды, по полтора часа.

У Ксюши перед глазами стояли идиллические картинки, напоминающие кадры из старых советских фильмов. Молодая целеустремленная мамаша корпит над учебниками, пока румяный младенец спокойно спит в кроватке. У мамыши от недосыпа интересная бледность и красивые голубые тени вокруг глаз. Она готовится к поступлению в вуз и непременно добьется своей благородной цели.

Но каждый раз, когда Маша засыпала, на Ксюшу наваливалась неодолимая лень. Голова была тяжелой. Ксюша казалась самой себе вялой, неповоротливой короной, способной только жевать траву, облизывать своего теленочка, протяжно мычать колыбельные песни и вырабатывать молоко литрами.

Время бежало быстро, между прочим, самое золотое время. Три месяца – изумительный возраст. Проблемы с кишечными газами остались в прошлом, а зубы еще не начали резаться. Но очень скоро начнут. Это сложный процесс. У ребенка болят и зудят десны, иногда даже поднимается температура. Он капризничает и плохо спит. Обычно это совпадает с

началом ползункового периода, ребенок выбирается за пределы маленького безопасного пространства кроватки и коляски, начинает передвигаться по дому на четвереньках и тянуть в рот все, что попадется на пути. Расслабиться нельзя ни на секунду. Младенец шести-семи месяцев не только ползает, он лазает, стремительно, как торпеда, и ловко, как цирковой акробат. Он может за считанные секунды перелезть со спинки дивана на подоконник и проверить, хорошо ли закрыто окно, вскарабкаться на обеденный стол, а потом, отвлечшись на что-то интересное, кувыркнуться с него головой вниз. Ксюша слышала множество кошмарных историй об электропроводах, перекушенных остренькими молочными зубками, о таблетках, которые хранились в совершенно недоступных местах, но ребенок вскарабкался на стул, оттуда влез на холодильник, добрался до аптечки и принялся поедать разноцветные ядовитые шарики в сахарной глазури.

В общем, Ксюша знала, легче, чем сейчас, уже не будет. Если есть желание поступить в Академию, стать врачом, зрелым, самостоятельным, независимым человеком, а не домашней клушей, то надо сию минуту сесть за письменный стол. Сейчас или никогда. Но один только вид открытого учебника химии на письменном столе вызывал у нее ватную слабость. Ксюша хитрила, выдумывала разные уважительные причины. Разве можно заниматься в такую жару? Тридцать градусов в тени, какая химия? Мозги плавятся. Однако тут же она замечала с убийственной, скептической усмешкой, что значительно быстрее мозги плавятся от безделья.

Но сегодня у нее появился совсем свежий и очень добротный предлог, чтобы вместо химии улечься на диван в столовой и включить видик.

Ее мрачный, сложный, непредсказуемый муж Олег стал в последнее время довольно часто брать с собой в Москву видеокамеру. Когда она спрашивала, что он собирается снимать, Олег отвечал:

– Отстань, не твое дело.

Она привыкла к его грубости и ничего другого не ждала. Она знала, за кого выходила замуж, и не обижалась.

Сегодня утром она нашла адаптер – специальное устройство, с помощью которого можно просматривать маленькую кассету от видеокамеры в обычном видеомаягнитофоне. Тяжеленькая черная коробочка валялась почему-то под кроватью. Внутри была кассета. Ксюше, разумеется, не терпелось посмотреть, что наснимал Олег.

В доме было пусто и тихо. Олег уехал в Москву на работ у, сказал, что вернется только завтра. Машенька спала в коляске, в саду, Раиса тоже спала, у себя в отдельном маленьком домике. Ксюша налила стакан клюквенного морса, уселась в столовой в кресло-качалку и включила видик.

На аккуратной зеленой лужайке пять красивых веселых подростков, три девочки и два мальчика гоняли мяч. Девочки в купальниках, мальчики в плавках бегали, резвились, дурачились, толкали друг друга. Не футбол, не волейбол, просто игра без правил на свежем воздухе. На краю лужайки в шезлонге загорала с журналом в руках крупная женщина лет сорока. Она выглядела очень стильно. Красная широкополая шляпа, темные очки, красный закрытый купальник, длинная гладкая шея, длинные стройные ноги. Иногда она отрывалась от журнала, подзывала кого-нибудь из подростков, заботливо вытирала платочком мокрое лицо, обняв за шею, что-то шептала на ухо. Девочка или мальчик улыбались, кивали, возвращались на лужайку и продолжали резвиться. Это было похоже на рекламный ролик. Теплый солнечный свет, птичий щебет, вдали яркие березовые стволы, над нарядными кронами ослепительное голубое небо с пушистыми, белоснежными, словно игрушечными облачками.

Каждый из подростков мог запросто стать фотомоделью, но особенно выделялись две совершенно одинаковые блондинки. Высокие, тонкие, в купальниках-бикини из блестящей тугой лайкры, они носились за мячиком так грациозно, словно исполняли причудливый ритуальный танец. Их движения были точны, упруги и почти синхронны. Прямые белокурые

волосы сверкали на солнце, взлетали и падали на худенькие плечи, покрытые легким медовым загаром. Лица вспыхивали белозубыми улыбками.

Подростки то и дело с визгом и хохотом задирали друг друга. Ксюше показалось, что шлепки и пинки, которыми они обмениваются как бы шутя, на самом деле весьма увесисты и болезненны. Иногда в веселой возне мелькали вполне профессиональные удары, приемы жестоких восточных единоборств. Взлетала чья-нибудь стройная мускулистая нога, и кто-то падал, переворачиваясь через голову.

Подростки знали, что их снимают, и работали на камеру. Им нравилось сниматься. Они бросали в объектив лукавые веселые взгляды, подмигивали, посылали воздушные поцелуи, показывали кукиши, корчили смешные рожицы. А камера между тем дрожала, тряслась, буквально ходила ходуном.

– Олег Васильевич, снимите меня! – крикнул темноволосый синеглазый мальчик, приблизив лицо к объективу, и тут же отбежал, встал на руки, дважды крутанул «колесо», высоко подпрыгнув, перевернулся через голову в воздухе, резко выбросил вперед ногу, нанося смертельный удар воображаемому противнику.

К мальчику подскочила хрупкая рыженькая девочка. Она была ниже его на голову и в два раза тоньше, но моментальным приемом опрокинула его на траву, лицом вниз и уселась сверху, издав при этом зычный победный клич.

Камера продолжала приплясывать. Ксюша представила себе трясущиеся руки своего мужа и всю его нелепую фигуру с большой головой, узкими плечами. Олег стоял среди этих здоровых красивых детей на яркой лужайке и снимал на свою любительскую видеокамеру их здоровые красивые игры. Зачем он это делал, кто были ему эти подростки и эта женщина в красном, где находилась лужайка, окруженная березами, Ксюша понятия не имела. Сначала ей даже пришла в голову совершенно дурацкая мысль, что ее муж решил подработать на косвенной рекламе, уж больно смахивала эта идиллия на платный телесюжет. Олег все-таки закончил ВГИК и до сих пор мечтает снимать кино. Почему бы нет? Правда, любительской видеокамерой, да еще такими трясущимися руками, телесюжеты не снимают, к тому же Олег кончал не операторское отделение, не режиссерское, а сценарное.

Через минуту в кадре появился новый персонаж, и Ксюша окончательно убедилась, что никакой рекламой здесь не пахнет. На лужайку, тяжело, неуклюже переваливаясь, вышло странное, жутковатое существо. Глухой черный балахон до пят. Черная лысая голова с небольшими красными рожками. Огромные круглые красные глаза, круглая дыра, обведенная красной каймой, на месте рта, по бокам желтые кривые клыки, отвислый, длинный, совершенно непристойный нос. Приглядевшись, Ксюша поняла, что это просто маскарадный костюм. Кто-то натянул на голову шапку-маску из блестящего черного эластичного материала. Но выглядело все вполне натурально. Шапка-маска была сделана очень качественно.

На лужайке воцарилась тишина. Подростки застыли. Женщина в красном резко поднялась, подошла к ряженому, тихо, жестко произнесла:

– Это что такое? Кто тебе разрешил?

Из-под балахона показались пухлые белые руки и принялись неловко стягивать с головы шапку-маску. Женщина помогла, и через минуту весь маскарадный костюм был у нее в руках. Теперь вместо черта посреди лужайки стояла низенькая полная девочка лет четырнадцати. Плоское широкое лицо с нечистой сероватой кожей, тупая, зыбкая, но добродушная улыбка. Узкие белые шорты и полосатая эластичная маечка нелепо обтягивали ее рыхлое бесформенное тело. Над ушами торчали две тощие желтые косицы, украшенные ярко-розовыми пышными помпончиками. Она застыла посреди лужайки и испуганно, растерянно озиралась. Губы ее шевелились, и сквозь приятный звуковой фон, птичий щебет, сдержанное хихиканье детей отчетливо проступило ее захлебывающееся бормотание:

– Больше не буду, честное слово, не буду, мамочка Зюечка, я виновата, больше не буду.

«Мамочка Зочка», дама в красном купальнике, исчезла с лужайки вместе с маскарадным костюмом. В глазах девочки дрожала паника. Она не решалась двинуться с места, не знала, что ей делать дальше. И тут на помощь пришла одна из красоток-близняшек.

– Люсенька, киска, иди сюда! – крикнула она. – Иди, я тебя пожалею.

На плоском сером лице засветилась счастливая, благодарная улыбка, девочка широко открыла рот, издала неопределенное, восторженное: «Уауу!» и, тяжело переваливаясь, засеменила на зов. Ей навстречу полетел тугой звонкий мяч, она растопырила руки, пытаясь поймать, но не сумела, и мяч угодил ей в грудь. Люся коротко вскрикнула.

В кадре плавало удивленное, растерянное лицо, девочка пыталась сообразить, что ей нужно сейчас делать. Хотелось плакать, удар получился болезненным, но она знала, что нельзя, и, часто моргая белесыми ресницами, кусая губы, старалась изо всех сил улыбнуться, рассмеяться, никого не обидеть своим плачем, не испортить всеобщее радостное настроение.

Что-то в расплывчатых чертах девочки показалось Ксюше знакомым. Этот несчастный умственно отсталый ребенок напоминал ей кого-то, но она никак не могла понять кого. Выпуклые светло-карие глаза, маленький круглый нос-кнопочка, желтые волосы, тонкие, мягкие, как цыплячий пух. Большая голова беспомощно крутилась на тонкой шейке. На ветру трепетала легкая жиденькая челка, открывая мучительно наморщенный мясистый лоб.

– Люся, только не плачь! Не смей плакать! Иди ко мне, моя маленькая, иди сюда, – послышался за кадром голос Олега. Конечно, это был его голос, тут уж Ксюша не могла ошибиться. Однако в нем звучало нечто совершенно новое. Таким голосом, такими словами он никогда ни с кем не разговаривал. Его речь обычно была груба и отрывиста, тяжелый бас звучал с какой-то механической тупостью. Он говорил так, словно в горле у него перекатывались чугунные гири. Но там, за кадром, на пасторальной лужайке, с камерой в пляшущих руках, был совсем другой человек, мягкий, ласковый, любящий.

Лицо девочки наплывало, увеличивалось, стали видны все ее прыщики и дрожащая влага в широких, ясных, совершенно младенческих глазах. У нее за спиной слышались визг, смех, здоровые красивые подростки продолжали резвиться.

На этом съемка кончилась, остался еще большой кусок пустой пленки, по экрану побежала черно-белая рябь. Ксюша залпом выпила свой морс. У нее сильно пересохло во рту. Сердце застучало как сумасшедшее.

Она знала, что у Олега до нее была жена по имени Лена, с ней он прожил совсем недолго и благополучно расстался. Жена Лена, и никаких детей. Были еще женщины, но ничего серьезного. Олег отказывался говорить на эту тему, грубо, неуклюже отшучивался.

– Тебе это не интересно, – отрезала свекровь, Галина Семеновна, когда Ксюша решила спросить у нее о прошлой семейной жизни Олега, – считай, до тебя никого не было. Лена оказалась хабалкой, хамкой. Ему, бедненькому, вообще досталось от баб. Он такой наивный, беззащитный, это счастье, что ты у нас появилась.

– А дети?

– Ну, какие дети, Бог с тобой! Какие дети?

Тема была закрыта раз и навсегда. Галина Семеновна постоянно подчеркивала: Машенька – первый и единственный ребенок Олега, долгожданная ее, Галины Семеновны, внучка. Других нет.

Слабоумная девочка Люся, заснятая на лужайке среди здоровых, красивых, жизнерадостных подростков, была поразительно похожа на Олега.

* * *

После посещения морга загазованный, пропыленный воздух улицы казался чистым и нежным. Илья Никитич глубоко вздохнул, зажмурился, стараясь избавиться, наконец, от

тягостного чувства растерянности и беспомощности. Ему было плохо, тоскливо уже четвертые сутки, с того момента, как попались на глаза в доме убитой Лилии Коломеец эти несчастные вишенки, вышитые на крошечных мешочках с лавандой.

Он много лет занимался расследованием убийств и спокойно относился к виду трупов, даже самых растерзанных. Но иногда какая-нибудь случайная невинная деталь, какой-нибудь легкий бытовой штрих из жизни растерзанной жертвы надолго застревал в памяти.

Впервые попав в морг двадцатидвухлетним студентом юрфака, Илюша Бородин, в то время худенький, темноволосый, с яркими голубыми глазами и широкой белозубой улыбкой, не упал в обморок, не стал заикаться, как некоторые его сокурсники. Конечно, побледнел, и во рту пересохло, но не более. Он был готов к тому, что смерть, особенно насильственная, выглядит ужасно, и увидел всего лишь то, что ожидал увидеть. Раздробленные черепа, выпотрошенные животы и прочие кошмары не преследовали его потом во сне. Но его словно током шарахнуло, когда он увидел небесно-голубые капроновые банты в тугих рыжих косичках мертвой семилетней девочки. Их группа уже уходила из морга, девочку только привезли, она лежала на каталке в гулком кафельном коридоре. Он остановился и перестал дышать. Голова закружилась, и потребовались нечеловеческие силы, чтобы никто не заметил, как стало худо сильному, философски спокойному Илюше Бородину.

Он так и не узнал, каким образом погибла девочка, был ли там криминал или просто несчастный случай. Иногда, к счастью редко, только в состоянии крайней усталости, раздражения, недосыпа, ему мерещились эти косички с бантами, как их заплетают ловкие женские руки, а девочка смотрит на себя в зеркало, улыбается, гримасничает, показывает язык, вертится. Дальше ничего не происходило, воображение отключалось, но это было хуже любого, самого кровавого кошмара.

Трое суток назад, увидев красивые мешочки с лавандой в квартире Лилии Коломеец, он опять вспомнил рыжую первоклашку с ее аккуратными косичками и голубыми бантиками.

Июньские сумерки отливали дымчатой капроновой голубизной. Илья Никитич брел не спеша по рыхлому сероватому ковру из тополиного пуха, шурился на огненное закатное солнце, висевшее между двумя белыми девятиэтажками, и пытался подвести хотя бы приблизительный итог.

Прошло трое суток. Психологический портрет предполагаемого преступника, сложившийся у него в голове, был замешан на пьяном бреде бомжихи Симки и на его, следователя Бородина, личных эмоциях, а не на фактах и здравом смысле. Какие могут быть факты, какой здравый смысл, когда речь идет об огненном звере с красненькими рожками и поросычьим голосом? Между прочим, матерно визжать могла и девочка Люся. Другое дело, если бы бомжиха засвидетельствовала, что у зверя был глубокий бархатный бас. Вряд ли Люся сумела бы материться мужским голосом. А вот напялить на голову шапку-маску – это было ей вполне по силам.

За трое суток не удалось выяснить, где именно училась и жила Люся, кто такая «мама Зоя». Было похоже, что на Люсю Коломеец нигде не заведено медицинской карты. Кроме свидетельства о рождении, не имелось никаких документов на больную девочку, ни в одном из московских психдиспансеров она не стояла на учете. С рождения и до сегодняшнего дня она была прописана в квартире своей тети Лилии Анатольевны Коломеец.

Когда-то там жили мать и две сестры, Ольга и Лилия Коломеец. Отец ушел из семьи, когда девочки были еще маленькими. Мать умерла от лейкемии через полгода после самоубийства Ольги.

Вот, собственно, и вся информация. А узнать что-либо от самой Люси было невозможно. Она упорно повторяла, что убила тетю Лилию потому, что она, Люся, плохая, злая и вонючая, иногда плакала и просила дать ей луку, чтобы намазать голову, при малейшей возможности застревала у зеркала, долго, внимательно разглядывала свое лицо, пыталась сдирать прыщи и

опять плакала. Вопросы о человеке, который приходил в дом с конфетами и цветами, вызывали у нее тихую панику, она краснела, пугалась и замолкала, принимаясь судорожно тереть поясok больничного халата.

В подростковом отделении стационара Центра имени Сербского был поставлен предварительный диагноз «олигофрения в стадии дебильности», то есть Люся страдала самой легкой формой умственной неполноценности.

* * *

– Олег, ты что, решил снимать рекламные ролики? – небрежно спросила Ксюша, когда ее муж вернулся с работы на дачу.

Он приехал на такси, отказался от ужина, рухнул на тахту в столовой, включил телевизор, закрыл глаза и как будто уснул под вечерние новости. Ксюша сидела рядом в кресле-качалке, кормила ребенка и размышляла, стоит ли спросить о кассете. Наконец решилась.

– Мм? – не открывая глаз, промычал он в ответ.

– Я случайно под кроватью нашла кассету, – чуть громче произнесла Ксюша, – конечно, мне стало интересно, я посмотрела через адаптер. Что это за ребята?

– Отстань, – пробормотал он и отвернулся к стене.

– Отстану, если расскажешь.

В ответ послышался храп. Разговаривать дальше было бесполезно. Ксюша тяжело вздохнула, встала и отправилась на второй этаж укладывать ребенка. Когда она вышла, Олег повернулся на спину, открыл глаза и уставился в желтый деревянный потолок.

«Нашла кассету, – думал он под возбужденный голос спортивного комментатора, – ну и что? Я и не прятал. Надеюсь, у нее хватит ума не обсуждать это с мамой, а если еще раз пристанет с вопросами, я так рявкну, что надолго отобью охоту лезть не в свое дело».

Он выключил телевизор, в одних носках вышел в сад, залитый лунным светом. В мокрой траве стрекотали кузнечики. Олег с хрустом потянулся, запрокинул голову, равнодушно взглянул в глубокое, чистое, усыпанное звездами небо и с мучительной гримасой вспомнил, как когда-то все это ему нравилось – ночной сад, блеск росы на темных кустах шиповника, далекий лягушачий хор и близкий, одинокий, страстный голос соловья. Теперь влажная свежая прелесть летней ночи раздражала и оскорбляла его, как смех на похоронах.

Когда ты молод, красив, удачлив, хватается глупости верить, будто звезды, розы и соловьи предназначены тебе и любят тебя так же, как ты их. Но если ты потаскан, нездоров и мерзок самому себе, то, глядя на звезды, чувствуешь себя окончательным уродом. Ты знаешь, что все они врут, эти сладкие запахи и звуки. Ты завтра сдохнешь от передозировки, а соловей будет так же самозабвенно заливаться, и звезды не станут бледней.

Солодкина с детства не покидало ощущение коварной подмены, ему казалось, что он проживает чью-то чужую, неприятную, недостойную жизнь. Он хотел иначе выглядеть, иначе думать и чувствовать. Он отлично понимал, что ад – это не другие люди и не внешние обстоятельства. Это состояние души, и тут ничего не изменишь. Он самому себе совершенно не нравился, ни внутри, ни снаружи, он себя терпеть не мог, и даже в солидном возрасте, засыпая, содрогаясь от брезгливости и стыда, как онанирующий подросток, мечтал проснуться совершенно другим чело веком.

Образ бывшей сокурсницы Маши стал для него чем-то вроде тайного талисмана, призрачного подтверждения, что другая жизнь существует, и рано или поздно он из чужой реальности легко перепрыгнет в свою собственную.

Однажды он увидел Машу на телеэкране. Она вместе со съемочной группой выступала перед телепремьерой очередного фильма. Она сильно изменилась. Из трогательной невесомой девочки превратилась в жесткую надменную даму, пожалуй, стала красивее, но прежнее оча-

рование ушло. Он решил, что освободился. Маши нет. Есть холодная чужая леди, чем-то похожая на его мать, а стало быть, совершенно не интересная, скучная, насквозь фальшивая. Из этого следовало, что никакой другой жизни у него не будет, и, вероятно, не могло быть. Все обман, обидные детские иллюзии. Надо как-то существовать здесь и сейчас.

Но здесь и сейчас было невыносимо скучно. Люди смотрели на него пустыми равнодушными глазами, он просто умирал от скуки, пока не нашел отличное средство. Началось с марихуаны. Ему объяснили, что это даже менее вредно, чем обыкновенные сигареты, впрочем, он не особенно волновался за свое здоровье. За марихуаной последовал кокаин, потом отвар из маковой соломки. Ему нравилось экспериментировать, он спасался от смертной скуки.

Постепенно его жизнь превратилась в череду «приходов», «ломок», скандалов с родителями, насильственных лечений по различным методикам. Олег переселился во внутреннюю реальность, не выходил из состояния наркотического опьянения, похудел на десять кило, сочинил замысловатый роман о путешествии загадочного «Я» по кровеносной системе собственного организма.

Этот период остался в его памяти эластичным лоскутом тумана, который бесконечно растягивался во времени и пространстве. Он терял память, забывал, что было год назад и час назад, иногда не помнил собственного имени и домашнего адреса. Родители насильно поместили его в закрытую лечебницу. Туман сгустился, из розового сделался кроваво-красным. Олега лечили всеми доступными способами. Во время очередной беседы с родителями врач в ответ на жесткие претензии Галины Семеновны раздраженно заметил, что случай крайне запущенный, пациент упорно не желает освободиться от наркотической зависимости и вряд ли есть надежда на счастливый исход. Это оказалось последней каплей для Василия Ильича. Раньше он вел себя удивительно спокойно и мужественно, жена даже упрекала его в безразличии. Прямо в кабинете врача у него случился сердечный приступ, а через двое суток он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

На похоронах отца Олег впервые заплакал и впервые твердо решил завязать. Вернулся в лечебницу, долежал положенный срок и вышел как будто другим человеком, сумрачным, равнодушным ко всему, кроме собственного здоровья. Никакой игры воображения, никаких фантастических образов в голове, никаких чувств. Галина Семеновна резво принялась устраивать его жизнь, составила расписание приема лекарств, повесила на стенку в кухне, выяснила, как обстоят дела у тех его сокурсников, с которыми он, по ее мнению, дружил. Стала приглашать в гости самых успешных и надежных, устраивала дома замечательные фуршеты, делала все, чтобы Олега не терзало одиночество, чтобы его окружали достойные друзья.

Трагические семейные события не помешали Галине Семеновне мягко вписаться в новую экономическую реальность. Она поняла, что основу успеха теперь составляют не должности и связи, а деньги. Только деньги. Остальное приложится. В начале девяностых она, как по волшебству, превратилась из влиятельной чиновницы в крепкую ловкую предпринимательницу, и вскоре у нее появились первые серьезные деньги. Часть из них она вложила в новорожденный молодежный журнал «Блюм», который пытался издавать один из бывших сокурсников Олега. За это Олег был принят на тихую достойную должность заместителя главного редактора.

Без наркотиков он продержался почти год, потом, накурившись марихуаны на какой-то тусовке, вернулся к родному кайфу, к ЛСД. Опять попал в больницу, продержался еще полгода без наркотиков, опять сорвался, и конца этому не было видно.

Весной прошлого года, пройдя курс очередного лечения, Олег поскользнулся на банановой кожуре, упал и сломал ногу. Перелом оказался довольно сложным. Почти месяц ему пришлось провести в больнице. Он лежал в отдельной палате и страдал от боли. Сильные обезболивающие были ему противопоказаны, а слабые не действовали. Боль изматывала, сводила с ума, хотя врачи уверяли, что терпеть можно. Он совсем не спал, не мог есть, кость срасталась неправильно, под гипсом начался воспалительный процесс, с ним производили какие-то жут-

кие хирургические манипуляции, сознание уплывало, больше всего на свете хотелось получить инъекцию морфия, но он из последних сил запрещал себе думать об этом.

Однажды на рассвете, выбравшись из мутной мучительной дремы, приоткрыв глаза, он понял, что свихнулся окончательно. У него начались галлюцинации. Его заглоучило, как в наркотическом кайфе.

В палате находилась Маша. Его заветная девочка. Его несостоявшаяся, совсем другая жизнь. Конечно, могло произойти невероятное, бывшая сокурсница, случайно узнав о несчастном случае, решила Бог знает по каким сентиментальным причинам навестить его в больнице. Они почти не общались в институте, но мало ли? Может, просто здесь же, в соседней палате, лежит кто-то из ее близких и она заодно заглянула к Олегу?

Фокус состоял в том, что она была вовсе не похожа на успешную холодную даму тридцати девяти лет, а выглядела точно так, как на первом курсе, и даже моложе. На ней был белый больничный халат и шапочка, надвинутая низко на лоб. Она взглянула на него прозрачными голубыми глазами, взмахнула черными ресницами, произнесла: «Проснулись? Доброе утро», широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, потянулась и исчезла из поля зрения.

У Олега все поплыло перед глазами.

Рядом послышалось жестяное звяканье, плеск воды, шлепанье мокрой тряпки. Хрупкая галлюцинация принялась водить шваброй по полу. Он повернул голову в ее сторону.

– Мешаю? – спросила она и улыбнулась.

– Кто ты? Зачем?.. – прошелестел он пересохшими губами.

– Санитарка. Да вы не волнуйтесь, я сейчас быстренько вымою и уйду.

– Нет. Не надо.

– Что? Мыть не надо? – Она застыла со шваброй в руках. – Через час обход. Знаете, как на меня будут орать, если увидят грязный пол? Вы ведь у нас платный, весь из себя крутой. Я, честное слово, очень быстро и тихо.

Она принялась опять водить тряпкой по полу. Он следил за ней глазами. Он пытался убедить себя, что это совсем другая девочка. Конечно, другая, просто похожа. Чем внимательней он вглядывался, тем больше находил формальных различий в чертах лица, и волосы, выбивающиеся из-под шапочки, были темней.

– Не надо уходить, – пробормотал он чуть слышно и добавил, уже громче и спокойней: – Как тебя зовут?

– Ксения.

– Сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

Разумеется, совсем другой человек. Больничная санитарка. Кроме глаз, ресниц, тонких рук и ног, тонкой шейки, остренького подбородка, ничего нет общего с его первой неразделенной любовью. И хватит сходить с ума. Просто смазливая санитарка, поломойка, соплячка. Он закрыл глаза, чтобы еще немного подремать, и с удивлением почувствовал почти забытый жар в груди и мятный привкус во рту.

Она вымыла пол, скрылась за дверью его индивидуальной ванной комнаты, он услышал, как она сливает грязную воду. Когда она появилась опять, с пустым ведром и шваброй, он спросил, может ли она помочь ему умыться.

– Сейчас к вам сестра придет, а мне еще пять палат мыть до обхода.

– Это и совсем не сложно. Надо отстегнуть ногу, поставить меня на костыли, проводить в ванную.

Она быстро взглянула на часы и, пожав плечиком, сказала:

– Хорошо.

Она оказалась сильнее, чем он думал. Сползая с койки, он почти упал на девочку, навалился всей тяжестью, но она удержала его. Пока он умывался и чистил зубы, она сидела на

бортике ванной. В зеркале он видел ее светлые насмешливые глаза, прямые, широкие брови, такие же угольно-черные, как ресницы. Белый ободок шапочки на лбу.

«Санитарка-поломойка-соплячка, – неслось у него в голове, – в конце концов, почему бы мне не поиграть в самого себя, молодого и полного разнообразных чувств? Это было бы так классно, я бы ожил, я бы – как это говорят психологи? – преодолел бы, наконец, многолетнюю фрустрацию».

– Почему ты работаешь санитаркой? – спросил он, прополоскав рот.

– Поступала в Медицинскую академию, недобрала баллов.

Она проводила его до койки, помогла лечь и ушла. Некоторое время он лежал, уставившись в потолок, и не сразу заметил, что нога почти перестала болеть.

С тех пор каждый день, каждый час превратился в ожидание. Он издали различал ее легкие быстрые шаги. Сердце его замирало от жестяного звяканья ведра и мокрого шлепка половой тряпки.

Галина Семеновна навещала сына ежедневно, заметила лихорадочный блеск в глазах, решила, что кто-то из медперсонала потихоньку снабжает его наркотиками, устроила тихое энергичное расследование и вскоре выяснила истинное положение вещей. Внимание ее сына к молоденькой санитарке не ускользнуло от других санитарок и медсестер. Олег почти каждого, кто заходил в палату, спрашивал, дежурит ли сегодня Ксюша, просил передать, чтобы она навестила его, и даже своему лечащему врачу сообщил с дурацкой улыбкой, что есть одна санитарочка, которая обладает удивительным свойством. Стоит ей появиться в его палате, и ему сразу становится значительно лучше.

Галина Семеновна тут же предприняла еще одно расследование. Уже через три дня ей было известно об этой девочке абсолютно все, и она осталась вполне довольна полученной информацией. Молоденькая санитарка оказалась коренной москвичкой из бедной, но очень интеллигентной семьи. Девочка не курила, не пила, не посещала эти жуткие дискотеки, не пользовалась декоративной косметикой, была вежлива, трудолюбива, жизнерадостна и совершенно здорова.

За день до выписки Олега из больницы Галина Семеновна решила лично познакомиться с Ксюшей. Девочка ей понравилась. Маленькая, худенькая, аккуратненькая. До старости не растолстеет, не обабится, и в сорок, и в пятьдесят будет выглядеть отлично. Гладкие русые волосы расчесаны на пробор и сколоты в скромный хвостик на затылке. Чистое бледное лицо, высокий лоб, прямые широкие брови, темнее волос, почти черные. Большие светлые глаза, круглые, ясные, с голубоватыми белками, с длинными, угольно-черными ресницами. Скромность, здоровье, порода. Эти три качества были для Галины Семеновны решающими.

Отлично зная бестолковость и застенчивость своего сына, Галина Семеновна решила взять инициативу в свои руки. Она пригласила девочку в гости, сообщив, что у нее есть несколько бесценных медицинских книг, издания прошлого века. Ксюша клюнула и в гости пришла. Первый визит ограничился чинным чаепитием втроем. Потом последовало приглашение в театр, на какой-то модный нашумевший спектакль (цена одного билета равнялась месячной Ксюшиной зарплате). Галина Семеновна была такой искусницей в плетении тонких кружев человеческих отношений, так легко и ловко умела завязывать и развивать прочную взаимоприятную дружбу, что малышка санитарка не успела опомниться, а тонкая ниточка ее судьбы была уже прочно вплетена в гармоничный, аккуратный рисунок чужого рукоделия.

Сам Олег впервые в жизни был благодарен маме за ее активность. Он не знал, как поступиться к девочке, и подозревал, что все прошлые неудачи связаны с его нерешительностью, с тем, что всегда выбирал не он, а выбирали его. Ксюша была его последним шансом. Рядом с ней он чувствовал себя моложе, здоровей, счастливей. Он не сомневался, что больше не вернется к наркотикам, и жизнь начинается с нуля, с ясного, чистого, безгрешного младенчества.

Закончилось все, как положено, красивой дорогой свадьбой с «линкольном», платьем от Готье, морем цветов, шикарным ресторанным столом, множеством именитых гостей и десятидневным туром в французские Альпы.

И вот теперь, когда прошел почти год, красивая умная Ксюша, его воплощенная мечта, казалась Олегу такой же чужой и равнодушной, как эта летняя ночь, и трехмесячная прелестная Машенька не вызывала никакой радости.

Глава шестая

Капитан Косицкий давно не видел таких классических коммуналок и думал, что в Москве они уже перевелись. Однако Юлия Сергеевна Ласточкина жила именно в такой коммуналке, в доме середины прошлого века неподалеку от Кропоткинской. После ее смерти в мае этого года комната досталась соседям. Юлия Сергеевна была совершенно одиноким человеком.

Дверь открыл замшелый старик в полосатой пижаме, не сказал ни слова, пожевал беззубым ртом потухший окурок и удалился во мрак коридора. Косицкий после солнечной улицы почти ослеп и, ощупью пробираясь к кухне, откуда слышались голоса и грохот посуды, споткнулся об огромного кота. Кот с визгом дунул прочь, по дороге опрокинув табуретку, на которой стоял таз с мокрым бельем. Капитан, сделав несколько неверных шагов, зацепил ботинком влажную дамскую комбинацию и ввалился в кухню почти на четвереньках, пятясь задом, тихо матерясь и пытаясь освободить ногу от мокрых капроновых кружев.

На кухне повисла страшная тишина, капитан распрямился, взглядываясь в трех пожилых женщин.

– Так, гражданин, в чем дело? – произнесла дама в цветастом халате и ткнула в капитана ложкой с дырками, как огнестрельным оружием.

Косицкий показал удостоверение и спросил, с кем можно поговорить о покойной Ласточкиной Юлии Сергеевне.

Минут через десять, удовлетворив, насколько было возможно, любопытство соседей, капитан сидел в уютной, чистой комнате цветастой дамы, угощался чаем со смородиновым вареньем и слушал подробный рассказ о том, что на самом деле у Юлии Сергеевны был вовсе не рак. Ее отравили соседи, претендовавшие на комнату, а врачей подкупили, чтобы все получилось правдоподобно, и можно ли теперь надеяться, что справедливость, наконец, восторжествует, соседи-убийцы получают по заслугам, а комната достанется самому достойному из претендентов, коим, несомненно, является она, цветастая дама, поскольку многие годы, не щадя себя, следит за порядком в квартире, борется за экономию электроэнергии, за чистоту в местах общественного пользования? Если бы не она, здесь все давно взлетело бы на воздух к чертям собачьим, ибо Прохорова никогда не выключает газ, а у Гнобенко убегает молоко.

– Скажите, к Ласточкиной приходил кто-нибудь? – ловко вклинился в паузу капитан.

– А как же, постоянно эта навевывалась, подруги ее школьной дочка, Лиля. Беленькая такая, стриженная. Фрукты приносила, конфеты, «тетя Юка, тетя Юка», – пропищала дама фальшивым тоненьким голоском и сделала сатирически-сладкое лицо. – Однако ничего не вышло. Ох, она потом бесилась, эта Лиля, всю комнату перерыла, видно, не могла поверить, что труды ее пропали напрасно и никакого завещания нет.

– Простите, не понял, – кашлянул капитан.

– Да чего же непонятного, – дама нахмурилась, – десять квадратных метров на улице не валяются.

Следующим собеседником капитана оказался щедушный мужчина лет сорока, с круглой лысинкой на макушке и хвостиком на затылке. Косицкий тут же про себя назвал его «шибзиком». Шибзик заглянул в дверь и, покачав головой, произнес высоким надтреснутым фальцетом:

– Сюзанна Ивановна, вам должно быть стыдно врать, а еще верующая женщина! Через стенку все слышно, – объяснил он капитану, – уши вянут от ее гадостей.

Под оглушительную брань цветастой дамы капитан удалился вместе с шибзиком. Тот представился Федей, признался интимным шепотом, что на самом деле зовут его длинно и странно: Фердинанд Леопольдович Лунц, и предложил выпить водки.

– Нет? Вы уверены? Ну а я выпью, с вашего позволения. – Он плеснул в стакан из бутылки, которая стояла на табуретке посреди комнаты.

Кроме табуретки и матраса в углу, мебели не было никакой. Капитан сел на подоконник, хозяин на пол, у табуретки.

– Я переезжаю, – объяснил Фердинанд, – женюсь и сматываюсь наконец из этого клоповника. Юлия Сергеевна тоже смоталась, но по-своему. Извините за грубость. Слушайте, а почему вы вдруг заинтересовались покойницей?

– Меня интересуют все знакомые Лилии Коломеец. Она дочь школьной подруги Юлии Сергеевны и довольно часто навещала ее. Вы были с ней знакомы?

– А что случилось? – По худому небритому лицу пробежала тень.

– Ее убили.

– Кого? Лилию? О господи! – Он налил себе еще водки, выпил залпом, закурил, и руки его заметно дрожали. – Нет, погодите. Вы что-то путаете, господин капитан милиции. Этого не может быть.

– Очень сожалею. Лилию Анатольевну Коломеец три дня назад обнаружили мертвой в ее квартире. Восемнадцать ножевых ранений. Я попрошу вас подробно рассказать, когда вы видели ее в последний раз, при каких обстоятельствах, о чем говорили. Все, что сумеете вспомнить.

– Восемнадцать ножевых ранений... Боже мой... – Фердинанд, сидя на полу, обхватил колени и уткнулся в них лицом. Капитан заметил, что плечи его крупно вздрагивают, столбик пепла сорвался и осыпал ветхие джинсы. – Простите, – выдавил он хрипло, – мне надо немного прийти в себя. Мне надо осознать, справиться.

– Да, пожалуйста, я не тороплюсь. – Косицкий открыл форточку, закурил и уставился в окно. «Он такой впечатлительный? – думал капитан, наблюдая за двумя девушками, играющими в бадминтон на маленьком пустыре. – Или у него что-то было с убитой? Ведь плачет мужик, рыдает, как ребенок. Конечно, восемнадцать ножевых любого нормального человека впечатлят, особенно если речь идет о молодой симпатичной женщине, никак не связанной с криминалом, но чтобы так сильно... Или это я отупел, нормальные человеческие чувства кажутся мне фальшивыми и подозрительными? На смерть каждый по-своему реагирует, кто столбенеет, кто рыдает, некоторые начинают прыгать, суетиться. Реакция зависит не столько от обстоятельств, сколько от нервной системы. Этот Фердинанд слабенький, чувствительный, что-то в нем детское, несмотря на лысину и водку. Имени своего стесняется, как школьник. Ладно, послушаем, что скажет».

Девушки за окном прервали игру и, размахивая ракетками, гонялись за драным здоровенным псом, который утащил воланчик.

– Все, – Фердинанд поднял голову, жадно затянулся, загасил окуроч, – еще раз извините. Просто это так неожиданно, так страшно.

– Не стоит извиняться, – пожал плечами капитан, – вспомнили что-нибудь?

– Даже не знаю, с чего начать. Их было две сестры, Лилия и Ольга. Ольга вас вряд ли интересуется, она покончила с собой десять лет назад.

– Вы о ней тоже можете рассказать?

– Кое-что могу. Однако зачем? Рана давно затянулась, стоит ли ковырять?

– А была рана? – тихо спросил Косицкий.

– Ну, когда молодая женщина ни с того ни с сего выбрасывается из окна, оставляя четырехлетнего ребенка, это, знаете, больно, тяжело, страшно.

– Ни с того ни с сего? Разве Ольга Коломеец не употребляла наркотики?

– Ну вот, и вы туда же, – вздохнул Фердинанд, – да, был период в ее жизни, когда она кололась. Ее уже десять лет нет на свете, но если поминают, то непременно с клеймом «наркоманка». Это несправедливо.

– То есть, вы хотите сказать, ей удалось бросить? – уточнил капитан.

– Ну да, да. Собственно, Юлия Сергеевна ее и вытащила.

– Разве она была врачом?

– Нет. Она была педагогом. – В голосе Фердинанда прозвучало легкое раздражение. – Вот вы работаете в милиции, вы сыщик, вам приходится сталкиваться с самыми дикими, нелепыми мотивами человеческих поступков, и вы вроде бы должны понимать, что в жизни нет стандартов, нельзя мыслить штампами, это абсолютно тупиковая логика. Спасти от наркотической зависимости может только человек с медицинским дипломом. Наркоманы все сумасшедшие и запросто кончают с собой. Волга впадает в Каспийское море, а две параллельные прямые никогда не пересекутся.

– Я всего лишь спросил, была ли Ласточкина врачом, – пожал плечами Косицкий. – При чем здесь Волга?

– Да, – Фердинанд выразительно закатил глаза. – Волга совершенно ни при чем. Мы говорим сейчас о сестрах Коломеец. Ну что ж, начнем с Оли. Она иногда жила здесь, по два-три дня, по неделе. А в последний раз, незадолго до смерти, провела в нашем клоповнике почти месяц. Было лето восемьдесят девятого. Ольга готовилась к экзаменам, собиралась поступать в пединститут. Не ахти какой вуз, но все-таки высшее образование.

– А почему она не могла готовиться дома? – спросил капитан.

– Они с Лилей и тетей Маней жили в маленькой квартирке, ребенку тогда было четыре года. Знаете вы или нет, у нее родилась больная девочка из-за наркотиков. Лиля и тетя Маня взяли ребенка на себя и отпустили Ольгу сюда, чтобы она могла спокойно заниматься.

– И что, она поступила?

– Да, на вечернее отделение. И была очень счастлива. Все-таки сдать экзамены, когда тебе под тридцать, все, что учил в школе, давно забыл, к тому же за плечами такой жуткий наркостаж! А через неделю выбросилась из окна.

– Однако вы неплохо все помните, – заметил Косицкий. – Об отце ребенка никогда не заходила речь?

– Никогда. Наши коммунальные кумушки, конечно, приставали с вопросами, но так ничего и не выяснили. Был какой-то человек, с которым Ольга жила два года. Но я даже имени не знаю. Вероятно, ребенок от него. И наркотики тоже – от него. Когда Ольга покончила с собой, все сразу стали говорить, будто это из-за наркотиков, забыли, что она к тому времени уже полтора года как завязала. На Лилю, конечно, было страшно смотреть. Она прямо прозрачная стала. А тетя Маня слегла, из крепкой, сильной женщины превратилась в развалину и вскоре умерла. Лиля осталась совершенно одна, с больным ребенком на руках. И она вынуждена была сделать то, что сделала. – Фердинанд встал и прошелся по комнате. Худые плечи согнулись, байковые рваные шлепанцы болтались на тонких босых ногах, и он все время спотыкался. Аптечная резинка сползла с жиденького хвостика, серые, тонкие, как пух, волосы растрепались.

– Что именно она сделала? – осторожно спросил капитан.

– Если вы расследуете убийство Лили, должны уже знать, – быстрым, свистящим шепотом проговорил он и подошел к капитану почти вплотную, – я не могу вам этого сказать. Я поклялся, понимаете?

– Понимаю, – кивнул Косицкий, – но если эта информация имеет отношение...

– Нет! – выкрикнул Фердинанд. – Никакого отношения к убийству эта информация иметь не может! Прошу вас мне поверить, – добавил он уже спокойней.

Капитан решил пока оставить тему, дать нервному собеседнику расслабиться. Клятва – это, конечно, серьезно, однако убийство еще серьезнее, и сообщить, что такое ужасное сделала Лиля Коломеец, бедному Фердинанду все равно придется. Не сейчас, позже.

– Да не волнуйтесь вы так, – мягко произнес капитан, – просто расскажите мне о сестрах. Какие они были?

– Они были разными, – отчеканил Фердинанд почему-то с вызовом в голосе. – Внешне похожи, но только на первый взгляд. Лиля сильнее, жестче, разумней. И не потому, что старшая. В ней чувствовалась определенность, надежность. Она с детства знала, чего хочет. А Ольга витала в облаках, у нее глаза всегда были туманные, еще до наркотиков.

– Если я правильно понял, вы знали обеих сестер с детства?

– Конечно. Я в этой коммуналке родился, они здесь бывали часто. Ну ладно, попробую с самого начала. Жили-были три девочки. Геня, Маня и Юка. Они дружили с раннего детства и до самой смерти. Геня – это моя мама, Генриетта Фердинандовна Лунц. Умерла три года назад. Кровоизлияние в мозг. Маня – мама Лили и Ольги, ну, а Юка, вы уже догадались, Юлия Сергеевна Ласточкина. Когда и отчего умерла, вы без меня знаете. Рак молочной железы. Детей у нее не было, и вообще ничего не было, кроме работы и комнаты в этом клоповнике. Работала она всю жизнь учительницей французского в школе и занималась языком со мной, с девочками. Сейчас мне та жизнь кажется далекой сказкой. Для нас троих устраивались такие чудесные детские праздники, что они мне до сих пор помогают выжить. Правда, не знаю, помогут ли сейчас. Видите ли, я любил Лику. И чем безнадежней было мое чувство, тем оно больней меня по едало. Вот теперь я женюсь на замечательной, доброй, милой женщине, но делаю это как будто назло Лике. А ее, оказывается, уже нет.

«Вот оно как, – подумал Косицкий, – любил, значит. Страстно и безответно».

– Фердинанд Леопольдович, когда вы видели Лилию в последний раз?

– Пожалуйста, прошу вас, не называйте меня так, – вскрикнул он и сморщил лицо, как от зубной боли, – я терпеть не могу это сочетание звуков. Федя, Федор, гражданин, как угодно!

– Хорошо, Федор. Так когда вы видели Лилю?

– В мае. Пятнадцатого мы похоронили Юлию Сергеевну, потом были поминки. Желающих прийти оказалось много. Учителя, ученики, родители учеников. Она была великолепным преподавателем. Поминали ее в школе, где она проработала всю жизнь. В актовом зале поставили столы, было сказано много хороших, теплых слов. Потом мы с Ликой пришли сюда. Надо было разобрать вещи, бумаги. Кроме нас, это некому было сделать. Мы просидели всю ночь, осталось столь ко писем, старых фотографий, поздравительных открыток. Как ни ужасно звучит, но эта ночь оказалась одной из самых счастливых в моей жизни. Никогда прежде я не проводил с Ликой столько времени вдвоем, наедине. Послушайте, а что вы на меня так смотрите? – вдруг вскрикнул он. – Того, о чем вы сейчас подумали, не было и быть не могло!

– Откуда вы знаете, о чем я сейчас подумал? – удивился Косицкий. – Вы что, умеете читать чужие мысли?

– Я просто неплохо знаю людей. – Он закурил очередную сигарету и несколько секунд молчал, тупо глядя перед собой. – Ладно, извините. Я постоянно срываюсь. Мне плохо. Я очень любил Лику и не смел к ней прикоснуться, мы просто смотрели старые фотографии, вспоминали детство. Часа в четыре утра вышли на кухню сварить кофе. Лику от бессонной ночи знобило, она накинула старую Ольгину кофту. Здесь оставались некоторые Ольгины вещи, тетя Юка их просто держала в шкафу, на память. Я варил кофе, она сидела у стола, мы о чем-то говорили, и вдруг она замолчала на полуслове. Я смотрел, чтобы кофе не убежал, и повернулся не сразу, через минуту. Не знаю, что произошло, но у нее стало такое лицо... Никогда этого не забуду. У нее ужас был в глазах, она глядела на меня и как будто не видела. Я, разумеется, стал спрашивать, что случилось, но в ответ ни слова. Сидит, съежившись, закутавшись в эту кофту, руки держит в карманах и дрожит. Я налил кофе, она взяла чашку, а рука так дрожит, что все расплескалось на стол. Как ни пытался я узнать, что произошло, она ничего мне не сказала, только «извини, Феденька, ложись спать, мне надо побыть одной». И ушла в комнату

тети Юки. Все. Больше я ее никогда не видел. Утром проснулся, постучал, ее нет. Ключ она оставила у соседней.

– И после этого вы ей не звонили?

– Звонил, конечно. – Он почему-то покраснел, судорожно вздохнул и заговорил немного другим голосом, отрывистым и хриплым: – Она уверяла, что у нее все нормально, обещала зайти. Я попытался спросить еще раз, что такое произошло ночью, она сказала: «Ничего, запоздалая реакция на смерть тети Юки». Просто кончилась суэта с похоронами, и до нее вдруг по-настоящему дошло, что тети Юки больше нет. Вполне разумное объяснение. Но я знаю, она говорила неправду.

«Кажется, ты тоже врешь, драгоценный мой», – заметил про себя Косицкий, а вслух мягко произнес:

– Почему? Так действительно бывает. Запоздалая реакция. Психологически вполне понятно.

– Бывает. Только не с Ликой. – Он помотал головой, и серые волосы поднялись, как пух одуванчика. – Понимаете, она была очень конкретным человеком. Такая острая реакция могла возникнуть от чего-то внезапного, неожиданного, а смерть Юлии Сергеевны была свершившимся фактом. Последнюю неделю Лиля не выходила из больницы, ухаживала за Юкой, и уже все было понятно.

– У вас есть какие-нибудь предположения? Вы сказали, на ней была старая кофта Ольги, она держала руки в карманах. Может, она нашла там что-то?

– Ну подумайте сами, что она там могла найти? Самое страшное – ампулу с наркотиком. Допустим, так. Навалились воспоминания, стало больно. Но у нее был шок, понимаете? Самый настоящий шок.

– Может, она нашла там записку, успела ее прочитать и убрать, пока вы варили кофе? Вы стояли к ней спиной.

– Записка? – Он напряженно сморщил лоб. – Ну да, возможно, это была записка. От Ольги. Как будто с того света. Простите, я очень устал. Мы слишком долго с вами беседовали, но я даже рад, что так получилось. Вы смягчили удар, отвлекли меня. Всего доброго.

– Спасибо, – Косицкий протянул свою визитку, – если вспомните еще что-нибудь, обязательно мне позвоните.

– Непременно, – кивнул Фердинанд.

Капитан пожал его вялую влажную кисть и быстро, тихо спросил:

– Да, совсем забыл. Вы не знаете адрес интерната, в котором живет Люся?

– Понятия не имею.

– Девочка сейчас в больнице, в тяжелом состоянии, и мы не можем выяснить, где она живет. В момент убийства она находилась у Лилии Анатольевны и прописана у нее, однако соседи говорят, что постоянно там не жила.

– Я ничего об этом не знаю. Всего доброго. – Голос его опять стал глухим и отрывистым, глаза забегали.

– Простите, Фердинанд Леопольдович, последний вопрос, – быстро проговорил капитан, пытаясь поймать его взгляд, – вы поклялись не говорить о том, что Лиля отдала девочку в интернат? Я правильно понял?

– Ну я же просил вас, господин капитан! Неужели так трудно запомнить? Меня зовут Федор! Федор! – Он отвернулся, глаза продолжали бегать. – Да. Вы поняли правильно. Лика просила меня никогда ни с кем не обсуждать этот ее поступок. Всего доброго.

– Спасибо, Федор. А что касается имени-отчества, извините, – Косицкий улыбнулся, – честно говоря, не вижу в нем ничего странного и тем более смешного, не понимаю, почему вы так болезненно к этому относитесь. Кстати, насчет имен. Если вы хорошо знали сестер, если

ваши мамы дружили, неужели никогда при вас не произносилось имя человека, с которым Ольга прожила два года?

– У дочери Ольги отца нет, – отчеканил Фердинанд, – считайте, что этот ребенок появился на свет в результате партеногенеза.

– В результате чего, простите?

– Непорочного зачатия, – криво усмехнулся Фердинанд. – Партеногенез – это вид полового размножения, при котором организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Встречается у некоторых беспозвоночных, у ряда ракообразных, у растительной тли. Всего доброго. Извините, мне надо побыть одному. – Дверь комнаты закрылась перед носом у озадаченного Ивана.

* * *

Младший лейтенант Николай Телечкин пил теплое пиво и жевал жирный чебурек в открытом кафе у метро. В кармане у него лежал список продуктов, которые он должен был купить на рынке по поручению своей молодой жены Алены. Коля не спешил, домой идти не хотелось. Беременная Алена капризничала и требовала от лейтенанта совершенно невозможных вещей: чтобы у нее прекратился токсикоз, чтобы ему повысили зарплату и полностью освободили от ночных дежурств, чтобы вредная хозяйка однокомнатной квартиры, которую они снимают, не заявлялась раз в неделю и не совала свой нос в каждый уголок.

Коля жевал чебурек без всякого аппетита, подозревал, что мясо в нем собачье или кошачье, а пиво разбавлено сырой водой, и глазел на небольшую площадь перед метро.

Напротив кафе, у входа в метро, копошилась компания бомжей. Опухшие, разбитые лица, всклокоченные волосы, в которых, вероятно, паслись целые стада насекомых. Прохожие огибали их, чуть ли не выходили на проезжую часть. Молодые женщины затыкали носы. Рядом с бомжами, у таксофона, остановился какой-то парень и страшно долго шарил по карманам, искал жетон. Поблизости было еще три таксофона, и все свободны, но он выбрал этот, рядом с бомжами. В карманах ничего не нашел, но, вместо того чтобы подойти к любому ларьку, купить жетон, остался стоять.

Он был одет во все черное. На голове платок-«банданка» с белыми черепами на черном фоне. Черные узкие джинсы, черная футболка с картинкой на груди. Коля разглядел что-то вроде черепа и свастики. На плече болталась небольшая спортивная сумка.

«Может, это новый вид токсикомании? Они воняют, даже здесь слышно, а он стоит, наслаждается, – подумал Коля, с любопытством разглядывая парня, – бесплатный кайф. Даже клей денег стоит, к тому же надо уединиться, прятаться, мешок на голову надевать. А если научиться ловить кайф от бомжовской вони, то можно просто ходить по вокзалам, толкаться у метро и балдеть сколько душе угодно».

Сквозь вялый уличный гул что-то рывкнуло, из ларька на площадь, как цунами, обрушилась волна тяжелого рока. Крутили хит сезона. Женская группа в маршевом ритме повторяла: «Шизофрения любви, меня скорей обними, и разум мой отними, шизофрения любви». Хриплое дыхание группы усиливалось стереодинамиками, казалось, стонет и шумно дышит вся маленькая торговая площадь перед входом в метро. От компании бомжей отделилось тощее лохматое существо в драном открытом платье с блестками и принялось отплясывать прямо перед кафе, в двух шагах от столика, за которым сидел лейтенант. Бомжиха вертела задом, трясла жидким бюстом, притопывала, размахивала руками и громко хрипло подпевала: «Шизофрения, а-а-а, шизофрения любви».

Коля положил недоеденный чебурек на бумажную тарелку, закурил и стал с брезгливым любопытством наблюдать этот безумный танец. Надо было встать и уйти, дома ждала Алена, и чем позже он вернется, тем злее и дольше она будет его пилить. Но, как замороженный,

он продолжал следить за танцующей теткой и краем глаза заметил, что, кроме него, есть еще один зритель. Парень в черном. Он даже приблизился, нашел место поудобней, закурил. Коля обратил внимание на бело-голубую пачку «Парламента» и зажигалку «Зиппо». Слишком дорогое курило для юного токсикомана.

Прохожие ускорили шаг, оглядывались и спешили прочь от неприятного представления. Бомжи, приятели плясуни, поглазели, вяло похлопали, но только в первую минуту, потом им надоело, они разошлись. А парень в банданке с черепами все стоял, и даже темные очки не скрывали, что глядит он на бомжиху и только на нее. Он пристроился в двух шагах от Коли, почти у него за спиной. Лейтенант несколько раз оглядывался, заметил дорогие черные замшевые ботинки, совершенно не сочетающиеся с джинсами, футболкой и банданкой. Шнурки в ботинках были почему-то белые.

«Что ж тебе, лейтенант, всякая муть лезет в голову? – усмехнулся про себя Коля. – Ничего странного в этом парнишке нет. Совершенно ничего. Ну, стоит, смотрит, просто так, от скуки. Может, ждет кого-то».

Пьяная тетка между тем, продолжая отплясывать, приблизилась к столику, за которым сидел Коля. На него пахнуло вонью. Он был в штатском, в джинсах и футболке, он был единственным человеком в кафе, тетка, вероятно, угадала в нем благодарного зрителя и решила адресовать ему свое выступление. Она протянула к нему руки с траурными ногтями, томно откинула голову, оскалила шербаты рот, по-цыгански потрясла плечами, наконец плюхнулась на стул напротив лейтенанта и цапнула со стола пачку сигарет. Вместо того чтобы шугануть нахалку, Коля молча уставился на нее. У бомжихи были подбиты оба глаза и расцарапана щека.

И тут наконец до него дошло, почему он так долго тупо пялился на тетку, наблюдал ее пьяную пляску, терпел истерический грохот шлягера, прихлебывал гадкое пиво, почему не давал ему покоя парень в банданке с черепами и какая между этими двумя неприятными явлениями возможна связь.

Несколько дней назад, после ночного дежурства, он курил на крыльце отделения и увидел, как вышла знаменитая бомжиха Симка со своим сожителем Рюриком, обратил внимание на живописные Симкины фингалы, а вскоре узнал о сундучке с нитками из квартиры убитой и о черте с красными рожками.

Всему отделению было уже известно, что Симке из бомжовского дома посчастливилось стать единственной свидетельницей по убийному делу и ее допрашивал следователь Бородин. Показания ее звучали до того интересно, что участковый пересказывал их, как анекдот.

Коля был с детства азартен и любопытен. Он не пошел бы в милицию, если бы не мечтал раскрыть какое-нибудь жуткое, запутанное преступление, поймать кровавого маньяка и прославиться хотя бы на уровне округа. С того злосчастливого момента, как он увидел первый в своей жизни насильственный труп, в голове у него, помимо воли, включился и заработал какой-то совершенно новый, неведомый механизм. Коля думал только об этом странном убийстве, о сумасшедшей девочке Люсе, пытался представить, как она хватает нож и вонзает лезвие в единственного в мире человека, которому она, сумасшедшая девочка, нужна. Считала она удары или нет? Почему их ровно восемнадцать?

«Этого не может быть!» – повторял про себя Коля и несколько раз нечаянно повторил вслух, отчего жена Алена странно посмотрела на него и покрутила пальцем у виска. Ночью ему приснилась жуткая сцена бойни. Девочка-зомби с оскаленным черным ртом, молодая женщина в розовом халате и узорчатых носочках, черт с рожками, сонное пухлое лицо следователя Бородина. Сон этот был настоящим кошмаром, но ровным счетом ничего не значил. Коля проснулся, вышел покурить на кухню. Он считал себя сильным, а оказался слабым, чувствительным, как барышня позапрошлого века, и поэтому стал раздражать самого себя.

«Если все-таки не она, если приходил гость с конфетами и цветами, почему Коломеец была в халате? Не ждала гостя, вышла из ванной, и он тут же набросился на нее? Допустим,

у тетушки был шок. От неожиданности она не успела крикнуть. Почему, в таком случае, не закричала Люся? Восемнадцать ударов требуют времени, Люся должна была понять, что происходит».

Это были даже не мысли, а невнятное омерзительное бурчание в мозгах, как бывает в животе от сырой капусты. Люся дала довольно верное определение, когда рассказывала, что происходит от укола.

«Мне пока никто психотропных препаратов не колол, но если так пойдет и дальше, то вскоре у меня окончательно съедет крыша», – с тоской подумал Коля и протянул бомжихе кружку с пивом.

Симка жадно выпила и, перекивая музыку, спросила:

– А пожрать дашь?

Коля молча пододвинул к ней тарелку с половиной чебурека. Сима слопала за минуту. Музыка кончилась так же внезапно, как началась, и стало удивительно тихо. Сима ладонью вытерла жирный рот. Потухшая сигарета лежала в пепельнице, она схватила окурочек и хотела уйти, но лейтенант приветливо улыбнулся и произнес:

– Ну как, Сима, черт больше не являлся?

– Какой черт? Ты что бормочешь, мальчик? Совсем сдурел? – прошептала Сима, вытаращив глаза, и быстро перекрестилась трясущейся рукой с зажатым в пальцах окурочком. – Думаешь, раз я такая, со мной все можно?

– Ну тот, с красными рожками. Помнишь, ты рассказывала? – уточнил Телечкин и мысленно обматерил самого себя.

Сима несколько секунд глядела на него разноцветными отчаянными глазами, наконец вскочила и кинулась прочь, прихватив со стола пачку «Честерфильда», в которой оставалось еще штук десять сигарет.

Коля не стал за ней гнаться и окликать не стал. Зачем? Чтобы расспросить ее о черте, который, может, и существует только в ее алкогольном воображении? Или чтобы отнять свои сигареты?

Настроение у него испортилось окончательно. Он давно должен был вернуться домой с полными сумками, но зачем-то потерял столько времени, хотел отдохнуть, выпить пивка, а получилось черт знает что. От чебурека с пивом уже начал побаливать желудок, бомжиха стащила сигареты и удрала. Парень в черном тоже исчез. Коля встал, но, вместо того чтобы идти на рынок, отправился в другую сторону, к бомжовскому дому, в котором жила Сима.

Он шел проходными дворами и заставлял себя не спешить, уговаривал, что просто хочет погулять немного. Он ведь не сошел с ума, не собирается влезать в расследование, которое его совершенно не касается. Конечно, нет! Делать ему нечего...

На детской площадке, у мусорных контейнеров, он остановился и подумал, что именно здесь Симка увидела черта, а потом Бородин увидел Симку.

«Разумеется, все это полный бред. Лилию Коломеец убила ее сумасшедшая племянница. На то она и сумасшедшая. Нет никакого маньяка. Восемнадцать ножевых ранений ничего не значат. Трижды шесть – восемнадцать. Три шестерки – знак сатаны. Ну и что? На фига мне эта арифметика-каббалистика? Дебильная девочка просто била тетю ножом и не считала удары».

Коля заставил себя сесть на лавочку. Полуденное солнце лилось сквозь матовую пыльную зелень. В песочнице дрожали ослепительные блики. Было душно, вероятно, приближалась гроза. Коля машинально полез в карман за сигаретами, но тут же вспомнил, что пачку утащила бомжиха, огляделся в надежде стрелкнуть курево у какого-нибудь прохожего, но вокруг, как назло, не было ни души. Он собрался уходить и тут увидел парня в банданке. Тот был без очков. Светло-карие глаза равнодушно скользнули по лицу лейтенанта.

– У вас закурить не найдется? – машинально выпалил Коля.

Парень застыл, глаза его из равнодушных и пустых сделались внимательными, острыми, и взгляд неприятно контрастировал с улыбкой. Тонкие губы растянулись, блеснул ровный ряд крепких желтоватых зубов. Коля вдруг подумал, что он значительно старше, чем кажется. Просто одет по дурацкой молодежной моде, а лицо совсем не юное. Возможно, ему вообще за тридцать.

Парень между тем достал из кармана мятую пачку «Парламента» и протянул Коле. В другой руке у него оказалась зажигалка «Зиппо», он дал прикурить лейтенанту и закурил сам.

– Спасибо, мужик. Вот, понимаешь, решил пивка выпить, – Коля простодушно улыбнулся, – а тут какая-то пьяная дура со стола сигареты свистнула. Не гнаться же за ней, в самом деле?

Парень промычал в ответ что-то невнятное, кивнул и пошел своей дорогой довольно быстро, не оборачиваясь. Коля несколько секунд стоял, пускал дым и смотрел ему вслед. Лейтенант понял, что он направляется назад, к метро. То есть он зачем-то сбежал вслед за Симкой к бомжовскому дому, а теперь возвращается.

«А может, он ждал кого-то, кто живет рядом? Ведь бомжовский дом здесь не единственный. Почему обязательно Симка? Зачем она ему? Просто он ждал подружку или приятеля у метро...» Коля взглянул на часы, присвистнул и рванул к рынку, на бегу уговаривая себя не думать больше об этой идиотской истории.

Однако в душном стеклянном муравейнике крытого рынка ему то и дело мерещилась банданка с черепами, черная футболка со свастикой. Переходя от прилавка к прилавку, он забывал, что еще надо купить, без конца вытаскивал из кармана смятую бумажку со списком, пока не уронил ее вместе с двумя бумажными полтинниками. Было ужасно противно шарить по полу, у толпы под ногами. Коля стал собирать, печально матерясь про себя. Один из его полтинников был придавлен черным замшевым ботинок с белым шнурком. Он поднял голову. На него, сверху вниз, смотрели знакомые светло-карие глаза. Банданки на голове уже не было, желтые тусклые волосы торчали короткими редкими перышками. «Да ему сороковник, не меньше!» – удивленно подумал Коля.

Замшевый ботинок подвинулся, отпуская бумажку, белобрысый нырнул в толпу и исчез.

Глава седьмая

Люся проснулась от боли. Боль была тупая, вязкая и тяжелая, как теплый пластилин. Открыв глаза, Люся несколько минут глядела в полосатый потолок. Полоски медленно двигались и ломались, доползая до стены, отчего маленький отдельный бокс казался клеткой, подвешенной в белом безвоздушном пространстве. Полная луна заливала бокс холодным дымчатым светом. Комната плыла, кружилась все быстрее. Она не знала, что это голова у нее кружится. Такого с ней еще никогда не было. Пытаясь утешить себя, она рассудила, что все это, пластилиновая боль, невесомое жуткое кружение, лишь страшный сон. Ей часто снились страшные сны. Тетя Лиля говорила: встань и умойся холодной водой. Раковины в боксе не было, Люсе предстояло пройти по пустому коридору, освещенному дрожащими голубыми лампами. Она уже не раз преодолевала этот путь ночью, просыпаясь в ледяном поту от страшных сновидений, и знала, что там, в синем коридоре, еще страшней, чем во сне. Ночами из-под закрытых дверей маленьких палат-боксов сочились всхлипы, стоны, храп, Люся различала, как тяжело дышат во сне ее невидимые соседи, как они ворочаются, кто-то привязан на ночь к кровати, кто-то обмочился, и утро начнется с сердитого крика нянек.

Она чувствовала людей даже сквозь стены, и если люди были больны, несчастны, жестоки, Люсе становилось плохо. Она ничего не могла поделать с этим, чужие чувства отражались в ней, как в зеркале, непонятно для чего.

Зажмурившись, она приподнялась на койке и вдруг поняла, что не было никакого сна. Комната плыла наяву, и живот болел наяву. Больничная рубашка и простыня оказались темно-красными. Вот в чем дело. Люся плохая, у нее течет кровь, она умрет, так ей и надо. Но больничное белье станет грязным, и даже матрас, а его нельзя стирать. За это Люсю будут ужасно ругать.

Кровь текла и не останавливалась. Люся попыталась слезть с кровати, пусть лучше течет на пол, его можно помыть. Но голова кружилась, ноги совсем ослабли, встать Люся не сумела и закричала.

Нельзя было кричать, она знала, что на крик явятся врачи и сделают еще хуже, наругают за испорченное белье и матрас. Люся попыталась зажать себе рот, но руки не слушались, а крик продолжал звучать. Люся не только слышала его, но и видела. Он выглядел как красный воздушный шар, наполненный тяжелым черным воздухом, будто взяли грозовую тучу, сгустили всю ее мокрую черноту и вдули в шарик. Теперь он гудел, визжал, совершенно отдельно, независимо от Люси, и, покачиваясь, перемещался по маленькой палате к двери. Вот сейчас вывалится в коридор, его услышат и увидят врачи, подумают, что Люся плохо себя ведет, войдут, обнаружат, что казенное белье стало грязным и много протекло на матрас, а матрас ведь не стираешь. Они разозлятся и сделают укол.

Надо было замолчать и лежать тихо, но Люся кричала и не могла остановиться. Ее крик в виде шара, раздутого, как клещ, медленно, неохотно отвалился от двери, потому что дверь открыли. В палату вошла ночная сестра и стала сдирать с Люси одеяло. Люся накрылась с головой, спряталась в теплой душевной темноте. Темнота пахла ее кровью. Кровь продолжала вытекать, и вместе с ней валился из глубины, прямо из живота, истошный крик. Вспух и надулся черным ужасом еще один шарик. Люся вцепилась в одеяло.

– Да что же это такое! Прекрати! – говорила дежурная сестра.

В палату вошли еще двое. Сильные санитары содрали одеяло, и все увидели кровь. Сестра ахнула и закричала на Люсю. Она решила, будто Люся самой себе что-то такое сделала.

– Ее надо было привязывать на ночь! – вопила сестра, сбрасывая на пол окровавленную простыню и пытаясь обнаружить припрятанный под матрасом осколок стекла или что-то другое, острое, чем могла Люся себя порезать.

Но ничего такого не было, и, казалось, сестру это разозлило еще больше.

– И зачем только живут такие уроды? – сказала она санитарам.

Люся не поняла смысла этих слов, даже не расслышала их за собственным криком, но моментально увидела злобу и гадливость в глазах сестры, и от этого закричала совсем уж отчаянно.

Сильнее уколов, сильнее любой боли Люся боялась, что о ней будут плохо думать. Злые мысли других людей представлялись ей чем-то вполне конкретным, осязаемым, они имели цвет и запах. Злые мысли пахли тухлыми яйцами, рвотной кислотой, а по цвету напоминали то рыжую осеннюю слякоть, то запекшуюся кровь. Люся казалась самой себе отвратительной, вонючей уродиной и не хотела жить. Она начинала видеть себя глазами чужого злого человека, только так, и никак иначе. Ненависть к самой себе моментально впитывалась в кожу, во все ткани тела, отравляла, словно ядовитый газ.

– А кровящи-то, как из свиньи, – покачал головой санитар, – вот, мать твою! Только поспать собрался, тепер с этим дерьмом всю ночь колупаться.

– Нет, а че случилось-то? – флегматично поинтересовался второй. – Откуда кровь?

Наконец явился дежурный врач. Люся билась в руках санитаров из последних сил. Она понимала, что все здесь считают ее плохой, ненавидела себя за это еще сильнее, чем другие, и хотела вырваться, чтобы ударить себя, сделать себе, вонючей, отвратительной, еще больней, еще хуже.

Игла вонзилась так быстро, что Люся не успела ничего почувствовать, крик оглушил ее, перед глазами крутилось множество тяжелых шаров, наполненных черным криком. Люсю подняли, переложили на носилки, она стала совсем слабой и почти с облегчением нырнула в знакомую стихию боли. Там ее качали ледяные волны, озноб разъедал кожу, как кислота, плавилась кость, одиночество обретало форму густого вязкого вещества, и Люся медленно, мучительно тонула в нем, даже не пытаясь выбраться.

На этот раз укол подействовал особенно сильно. Она потеряла довольно много крови, ее организм совсем не мог сопротивляться. В какой-то момент она вдруг увидела себя со стороны, толстую растрепанную девочку на каталке. Лицо девочки было бледно, глаза закрыты, от виска к щеке текла струйка ледяного пота. Эту девочку ненавидели все – санитары, медсестра, врач, который сделал укол, и Люся ее тоже ненавидела, затыкала нос, потому что воняло тухлыми яйцами.

Каталку вывезли на улицу, погрузили в машину, взвыла сирена. Люся увидела уже откуда-то издалека синие всполохи мигалки, широкое красное лицо санитаря, бутерброд и банку пива в его руках, мокрый жующий рот, слышала приглушенные голоса, смех. Теперь все это не имело к ней отношения. Она находилась вовсе не в фургоне «скорой», а сидела с рюкзачком у ворот детского дома и ждала тетю Лилию.

Солнце било в глаза, пели птицы, Люся сорвала одуванчик и дунула изо всех сил. Поднялись и медленно закружились в горячем воздухе крошечные кукольные парашютики, Люся вытянула руку, пытаясь поймать их, они щекотно опускались на ладонь, она опять дула и смеялась. Пахло сухой, разогретой на солнце ромашкой, не было никакой боли, никто Люсю не трогал, не ругал, все знали, что она хорошая девочка, и тонкая фигура тети Лили в светлом летнем платье уже показалась из-за поворота. Тетя Лилия шла по дороге, чтобы забрать Люсю, все шла, шла, но не приближалась. Люсе было тепло, в груди что-то сладко, нежно вздрагивало, позванивало, как будто там поселился веселый хрустальный колокольчик.

Санитары, выгружая носилки, чуть не уронили Люсю. Тот, что всю дорогу ел, отпустил руку, чтобы на ходу поковырять в зубе, носилки перекосило, тяжелое мягкое тело поймали на лету.

– А поосторожней нельзя? – отчетливо, сердито произнес кто-то рядом, и голос был похож на голос тети Лили. – Это все-таки ребенок, а не мешок с тряпьем.

В ответ невнятно выругались матом, пахло рвотной кислотой, но лишь на секунду. Люсе показалось, что она плывет куда-то, легко, как резиновая игрушка в ванной. Ее подняли, опять положили. Она почти очнулась, но боялась открыть глаза, чувствовала прикосновение ледяного металла, резиновых рук, отчетливо различала тихие голоса, острый запах марганцовки, хлорки, какой-то свежей туалетной воды, табака, мыла, и в красном мареве, под стиснутыми веками, возникло сердитое лицо тети Лили, а рядом замаячило другое лицо. Карие глаза, крепкие крупные зубы, веселая улыбка.

Он улыбался, разговаривал тихо и вежливо, но тетя все равно сердилась и выгоняла его. Люся так радовалась, что он пришел, с конфетами, с цветами, чтобы поздравить ее с днем рождения, поцеловать и накормить конфетами, она сама открыла ему дверь, а тетя вышла из ванной и стала кричать. Люся не понимала почему, но все равно ей было хорошо. Рядом с ним ей всегда было хорошо, что бы он ни говорил, ни делал, что бы ни говорили и ни делали другие. Она льнула к нему, старалась угодить во всем, каждое его слово было для нее единственной и главной реальностью. Как он говорил, так она и делала, и думала так, не желая знать, что может быть по-другому. С его ладони она могла съесть червяка, дохлую лягушку, смертельный яд и облизнуться от удовольствия.

Дали общий наркоз. Люся провалилась в сплошную, непроглядную тьму, и последнее, что привиделось ей, было сверкающее тонкое лезвие странной ромбовидной формы и огромные темные пятна крови, расплзающиеся по розовой пушистой ткани.

* * *

Чай был заварен отлично, по всем правилам, но показался Илье Никитичу совершенно безвкусным. Он встал из-за стола, вылил чай в раковину, сполоснул чашку, поставил ее в сушилку и удалился к себе в комнату. Его мама, Лидия Николаевна, тяжело вздохнула и не сказала ни слова.

Бородин был старым холостяком, жил с мамой и в последний раз задумывался о том, какое впечатление он производит на женщин, лет десять назад. Однако совсем недавно, ни с того ни с сего, стал дольше задерживаться у зеркала и однажды мрачно спросил маму:

– Как ты считаешь, может красавица влюбиться в жирное чудовище?

– А что случилось? – Лидия Николаевна вздрогнула и испуганно уставилась на него сквозь очки.

– Ничего. Просто спрашиваю. Слушай, может, мне начать гимнастику делать или бегать по утрам?

– Илюша, что произошло? – Лидия Николаевна отложила книгу, подошла к сыну и развернула его за плечи. – Посмотри мне в глаза.

– Ну, смотрю.

Глаза Лидии Николаевны были увеличены стеклами очков, от этого взгляд ее казался испуганным. Но на этот раз она действительно испугалась. Ее пожилой сын многие годы говорил и думал только о работе. Он как будто забыл, что на свете существуют женщины, в зеркало смотрелся, только когда брился. Лидия Николаевна в разговорах со своими приятельницами сетовала на сложный характер сына, на его замкнутость, говорила, что мальчик вырос совершенным трудолюбом и хорошо бы его с кем-нибудь познакомить. Нельзя же вообще не иметь никакой личной жизни! И очень обидно, что никогда у нее не будет внуков.

Но она лукавила. С отсутствием внуков она давно смирилась и уже не страдала из-за этого. В глубине души она ужасно боялась, что в их налаженную, спокойную жизнь когда-нибудь ворвется чужая женщина и все пойдет кувырком.

Когда-то ему пришлось пережить глупую неразделенную любовь, это была долгая, мучительная история, после которой он сник, стал набирать вес, превратил себя в старика. Лидия

Николаевна боялась повторений и не верила, что есть на свете женщина, способная по достоинству оценить ее сына. Он не молод, не богат, не красив. Он умный, добрый, порядочный человек, профессионал в своем деле, но кому в наше время это интересно?

– Так кто же она, эта красавица? – несколько раз осторожно спрашивала Лидия Николаевна.

– Никто, мама. Никто, – раздраженно отвечал Бородин, отворачивался и уходил в свою комнату, напевая под нос «Белой акации гроздь душистые» или какой-нибудь другой романс.

Лидия Николаевна решила больше не приставать к нему с вопросами. Рано или поздно сам расскажет, а не расскажет, так приведет в дом чужую женщину, и уже ничего не поделаешь.

«А может, ее вовсе нет, этой женщины? – с надеждой подумала Лидия Николаевна. – Однако похудеть Илюше все-таки надо, в любом случае. Во-первых, лишние килограммы опасны для здоровья, во-вторых, из-за этих килограммов он в свои пятьдесят выглядит на все шестьдесят, в-третьих, из-за своего круглого живота он в последнее время серьезно нервничает».

Лидия Николаевна перестала печь чудесные пирожки и принялась тереть сырые овощи. Когда Бородин отправлялся на работу, она, вместо домашних пирожков, котлет и бутербродов с ветчиной, клала ему в сумку сухие низкокалорийные галеты, не больше трех штук, пластиковые баночки с морковно-свекольным салатом, пакетик с курагой и черносливом, яблоко.

За две недели он скинул три килограмма и сразу как будто помолодел. Лидия Николаевна смотрела на него и думала, что если бы он еще и бакенбарды свои старомодные сбрил, то стал бы просто очень интересным мужчиной. Однако про бакенбарды она сказать не решалась, боялась его обидеть. Он с детства терпеть не мог выслушивать замечания по поводу своей внешности.

Каждый раз, когда звонил телефон, Лидия Николаевна со страхом и надеждой ждала услышать приятный женский голос. Она была уверена, что обязательно почувствует, когда позвонит та, которую ее сын назвал «красавицей».

Но звонки были сплошь деловые, по работе. А *она* все не звонила.

«Ну конечно, она не обращает на него внимания! Надо быть очень умной и тонкой женщиной, чтобы оценить моего сына. Если она не видит, какой он замечательный, значит, она грубая, недалекая, циничная эгоистка и мизинца Илюшиного не стоит», – вздохнула про себя Лидия Николаевна, когда ее мрачный молчаливый сын встал из-за стола, вылил чай в раковину и ушел в свою комнату.

Оставшись одна, она включила телевизор, прошлась по программам, но ничего, кроме натужно игривых ток-шоу и оглушительных боевиков, не показывали. Понаблюдав несколько минут за перестрелкой в американском баре, Лидия Николаевна выключила телевизор и отправилась в комнату сына. Дверь была открыта. Она увидела его сгорбленную спину за письменным столом и нарочито бодро произнесла:

– Илюша, я вот думаю, может, завтра все-таки напечь пирожков с курагой? Вера Михайловна дала мне один рецепт, тесто на кефире, почти никаких калорий. Скучно сидеть на диете, я ведь вижу, ты не получаешь от еды никакого удовольствия.

– Мамочка, – простонал Бородин, резко разворачиваясь в своем вертящемся кресле, – не надо пирожков. Давай немножко помолчим, ладно?

– Ладно, ладно. Я всегда молчу. У тебя неприятности на работе? Раньше ты мне все рассказывал, а теперь я даже не знаю, какое ты ведешь дело.

– У меня маньяк, мамочка. У меня восемнадцать ножевых ранений и дебильная сирота с самооговором.

– Ах, вот оно что, – всплеснула руками Лидия Николаевна, – а я думала, Илюша, у тебя неразделенная любовь.

– Почему неразделенная? – Бородин наконец улыбнулся. – Вот почему, мамочка, ты считаешь, что если у меня вдруг появится любовь, то она непременно будет неразделенной?

– Нет, Илюша, что ты! – испугалась Лидия Николаевна. – Я так совершенно не считаю. Ты, между прочим, очень интересный мужчина, особенно сейчас, когда стал худеть. Если ты еще расстанешься наконец со своими драгоценными бачками образца семидесятых... ох, прости, Илюша, я не хотела тебя обидеть.

– Ты меня не обидела. – Бородин легко поднялся, подошел к шкафу, приблизил лицо к зеркалу, повертел головой, потрогал щеки и задумчиво произнес: – А правда, ну их, эти бачки. Бриться будет легче, и вообще... Может, мне усы отрастить или бородку? Слушай, мамочка, как ты думаешь, возможно такое, что на больного ребенка нет вообще никаких медицинских документов?

– Нет, – твердо произнесла Лидия Николаевна, – такое невозможно. Ты сказал, дебильная сирота?

– Именно так. Девочка Люся, пятнадцати лет от роду. Олигофрения в стадии дебильности.

– Такие дети содержатся в специальных интернатах. Их в Москве совсем немного.

– Совершенно верно. Ни в одном из них Люся Коломеец 1985 года рождения никогда не числилась. Есть еще несколько семейных детских домов, но и там тоже об этой девочке ничего не слышали. Ее как будто вовсе нет на свете. А ты говоришь, неразделенная любовь.

Зазвонил телефон. Илья Никитич быстро взглянул на часы и кинулся на кухню с такой поспешностью, что у Лидии Николаевны замерло сердце.

– Да! – услышала она непривычно громкий возглас сына. – Да, Евгения Михайловна... О господи! Почему же вы сразу не позвонили?.. Ну да, я понимаю. Нет, давайте все-таки встретимся, если вам не сложно... Да, спасибо, я подъеду к вам прямо сейчас, если не возражаете... Хорошо, я понял.

Он бросил трубку и отправился в комнату переодеваться.

– Илюша, что произошло? – осторожно поинтересовалась Лидия Николаевна. – Куда ты собрался на ночь глядя?

– У моей дебильной сироты случился выкидыш, – с нервной усмешкой сообщил Илья Никитич, – у девочки, которой только что исполнилось пятнадцать, была беременность восемь недель. А в крови у нее обнаружен какой-то сильный галлюциноген.

Когда дверь за ним закрылась, Лидия Николаевна быстро убрала остатки ужина, вымыла посуду, потом с тряпкой отправилась в комнату сына, чтобы вытереть пыль. На письменном столе валялся толстый журнал. На глянцевой обложке под ядовито-розовой надписью «БЛЮМ» извивалась голая лысая девушка, серебристая, блестящая, как будто отлитая из ртути.

– Интересно, это фотография или компьютерная графика? – пробормотала Лидия Николаевна, разглядывая картинку. – Неужели кому-то может показаться привлекательным это существо?

Она принялась листать журнал. Сплошная реклама и совсем немного текста. Лидия Николаевна пробежала глазами статейку о том, как стать своим среди богатых людей. Пункт первый: посещать места, где бывают знаменитости, наблюдать, кто как одет, и стараться во всем их копировать, при этом в разговорах сыпать известными именами небрежно, презрительно, словно речь идет о надоевших старых знакомых. Пункт второй: чистые холеные руки, вылизанные ногти. Пункт третий: очень дорогие мелочи – зажигалка, ручка, записная книжка. Пункт четвертый: всегда опаздывать минут на пять, не меньше, но и не больше. Пункт пятый: беседуя, делать вид, что собеседник тебя достал своими глупыми разговорами и ты снисходишь до него из вежливости, хотя тебя ждут куда более интересные дела и люди.

До шестого пункта Лидия Николаевна не дошла, поморщилась и перевернула страницу. Она впервые в жизни держала в руках издание такого рода и не понимала, как можно добровольно покупать подобную дрянь. Бесстыдно глумливый тон текстов, ядовитые краски, вампирские физиономии кумиров и тут же сплетни об интимной жизни этих кумиров, поданные с таким убийственным сарказмом, словно речь идет о мелких жуликах.

– Нет, это определенно хуже, чем любая порнография, – проворчала Лидия Николаевна, откладывая журнал, – бедный Илюша, сколько ему приходится потреблять всякой информационной дряни.

Работа сына была огромной и чуть ли не самой важной частью ее жизни. Лидия Николаевна не упускала случая осторожно заглянуть в таинственный и жутковатый лабиринт очередного расследования. Сама она всю жизнь занималась изобразительным искусством, была доктором искусствоведения, иногда ей приходилось разгадывать авторство безымянных полотен, проводить экспертизу, разоблачать подделку под руку какого-нибудь гениального мастера, и в этом было определенное сходство ее работы с работой сына. Она любила логические головоломки, и не было для нее большей радости, чем уловить внимательный, сосредоточенный взгляд сына, когда она за ужином, как бы между прочим, выдавала ему какой-нибудь очень дельный совет.

Лидия Николаевна чувствовала, что сын сейчас в тупике. Он ничего не рассказывал, не делился, только сообщил о восемнадцати ножевых ранениях и единственном фигуранте, дебильной девочке-сироте, которая к тому же оказалась беременной. Гаденький журнал попал к нему в связи с расследованием. Лидия Николаевна принялась заново листать его, просматривать страницы более внимательно и наконец, дойдя до последней, заметила маленький крестик против одной из фамилий в списке сотрудников журнала. Карандаш Ильи Никитича аккуратно выделил из списка заместителя главного редактора Солодкина Олега Васильевича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.